



БЕРНАРД МАЛАМУД ● ТУФЛИ ДЛЯ СЛУЖАНКИ

**Издательство ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
1967**



**Bernard
Malamud**

**Рассказы
из
сборников:**

**Idiots
First**

**Magic
Barrel**

МАЛАМУД

БЕРНАРД

● ТУФЛИ ДЛЯ СЛУЖАНКИ

Р а с с к а з ы
Перевод
с английского
Р. Райт-Ковалевой



И (амер),
М18

Предисловие Ю. Нагибина
Послесловие В. Скороденко
Художник А. Блох

РАССКАЗЫ БЕРНАРДА МАЛАМУДА

«Он вспоминал, кем он только не работал после ухода из школы: шофером, рассыльным, рабочим на складе, потом на фабрике, и ни одна работа его не удовлетворяла. Он понимал, что ему хочется когда-нибудь получить хорошую работу, жить на зеленой улице в отдельном домике с крылечком. Хотелось, чтобы деньги были в кармане, чтобы можно было купить себе все что надо, пригласить девушку и не чувствовать себя таким одиноким, особенно в субботние вечера. Хотелось, чтобы люди его уважали и любили. Он часто думал обо всем этом, особенно по вечерам, в одиночестве. К полуночи он вставал со скамьи и возвращался в свой накаленный, каменный квартал».

Так думает герой рассказа «Летнее чтение» известного американского писателя Бернарда Маламуда. Не в силах изменить железный ход своей судьбы, герой рассказа решил хотя бы казаться тем, чем стремился быть. Он пустил слух, что принял решение прочесть за лето сто серьезных книг, чтобы превзойти в учености весь квартал. На деле же, погруженный в прежнюю апатию и бесплодные мечты, он пребывал все лето в полном бездействии, наслаждаясь до времени тем эффектом, какой произвел среди знакомых и

соседей пущенный слух. Теперь его существование приняло уже совершенно призрачный характер. В чем мысль этого странного рассказа? Видимо, в том, что реального выхода из положения, в какое поставлен рядовой труженик капиталистического общества, не существует. Где реальная цель недостижима — рождаются фантомы.

Стремления героя рассказа «Летнее чтение» общи большинству персонажей Маламуда, будь то рабочие, клерки, мелкие собственники, интеллигенты, писатели, художники. Все они рвутся из положенных пределов на широкий простор жизни и все равно терпят поражение. По сути, это все те же «маленькие люди», задавленные страшной действительностью частнособственнического мира. Если их не душит нужда, то приводит в отчаяние мертвящее однообразие жизни. Позиция автора? Он испытывает глубокую, шемящую жалость к своим персонажам, но бессилен указать им выход. Говоря его же словами: «Он жалел ее, жалел ее дочку, жалел весь мир. А кого не жаль?»

Молодой писатель, только что уничтоживший свой роман, не нашедший издателя, томься одиночеством, знакомится по телефону с женщиной и назначает ей свидание. Они встречаются в библиотеке, перед ним усталая, печальная женщина, и он понимает, что она нуждается в нем больше, чем он в ней. Долго сидят они в пивной, она кормит его принесенным с собой завтраком; наголодавшись

в своей каморке, он с удовольствием поглощает предложенную еду. Но вот трапеза окончена, и им нечего сказать друг другу. Они расходятся — навсегда — с глубокой жалостью друг к другу...

Мелкий лавочник, кое-как перебивающийся, заметил, что девочка, приходящая по утрам за покупкой, всякий раз ворует у него несколько шоколадок. Не желая избаловать девочку, чтобы не опозорить ее перед людьми, он пытается дать ей понять, что знает о воровстве, в расчете, что она сама оставит свою дурную привычку. Хотя существование лавочника теперь очень осложнилось, его жизнь наконец-то обрела определенную цель: отучить девочку от воровства, которое в дальнейшем грозило испортить ей жизнь. Но все сложилось иначе: скупая и злобная жена лавочника поймала девочку за руку, а бывшая при этом мать девочки ударила маленькую воровку по лицу. Сама же девочка, уходя, показала доброму лавочнику длинный красный язык... Так насмеялась жизнь над благими намерениями доброго человека.

Так же насмеялась жизнь и над молодым американцем, который приехал в Италию в поисках романтических приключений, в надежде свести знакомство с разорившейся юной аристократкой, а полюбил девушку с клеймом Бухенвальда на груди.

Я не ставлю себе задачу пересказать содержание рассказов Маламуда, разве лишь

в той мере, в какой это требуется для общей их характеристики. Все они в большей или меньшей мере отмечены то печалью, то безысходной грустью, то отчаянием, то трагизмом, то горькой иронией. Никому из героев не задается жизнь, никто не находит пути, все в растерянности блуждают по «бездорожью жизни».

Маламуд — даровитый, острый художник, временами он поднимается до высоких озарений. Школа? Маламуд нередко похож на нашего Чехова, временами — на Бабеля, но более всего — на самого себя. Советский читатель с интересом ознакомится с его яркой писательской индивидуальностью.

Ю. НАГИБИН

Хотя улица проходила неподалеку от реки, но была совсем отгорожена от нее, — узкая, кривая, застроенная старыми кирпичными домами. Ребенок, бросая мячик прямо вверх, видел только кусочек бледного неба. На углу, против закоптелого жилого дома, где работал привратником Вилли Шлегель, стояло точно такое же здание, только в нем помещалась единственная на весь квартал лавка — пять каменных ступенек вели в подвал, в бакалейную лавочку, крошечную и темную, в сущности, просто закуток в стене. Хозяев звали мистер и миссис Ф. Панесса.

Эту лавочку они только что купили на свои последние деньги, рассказывала миссис Панесса жене привратника, потому что не желали зависеть от дочек; обе их дочери, как поняла миссис Шлегель, вышли замуж за эгоистов, и те дурно на них влияли. И чтобы полностью от них не зависеть, мистер Панесса, бывший фабричный рабочий, вынул из банка все их сбережения — три тысячи долларов — и купил эту лавку. И когда миссис Шлегель, оглядывая лавку, которую она, впрочем, отлично знала, потому что они с Вилли уже много лет работали в доме напротив, спросила у миссис Панессы: «А почему вы купили именно эту лавочку?», та весело ответила, что купили они ее потому, что она маленькая и работы тут будет немного. Самому Панессе было уже шестьдесят три года. Богатеть они тут не собирались, им лишь

бы прокормиться без особого труда. Они обсуждали это дело много раз — ночью и днем, и решили, что лавочка их, во всяком случае, прокормит. Миссис Панесса заглянула в запавшие глаза Этты Шлегель, и та сказала, что да, надо надеяться.

Этта рассказала Вилли про новых соседей, напротив, через улицу, которые перекупили лавку у евреев, и сказала: надо при случае покупать у них. Хотя главные покупки они по-прежнему будут делать в магазине самообслуживания, но, когда понадобится какая-нибудь мелочь или они забудут что-нибудь купить, можно будет заходить к Панессе. Вилли сделал, как она велела. Он был высокий, широкоплечий, с тяжелым лицом, потемневшим от угля и золы, — всю зиму он орудовал лопатой, и волосы его часто казались седыми от пыли, которую подымал ветер, когда он выставлял баки с золой в ряд, чтобы их забрал грузовик мусорщика. В своем вечном комбинезоне — Вилли всегда жаловался, что работает без передышки, — он переходил улицу, и спускался в подвал, когда ему что-нибудь было нужно, и, закурив трубку, заводил разговор с миссис Панессой, а ее муж, сутулый, низенький человечек с робкой улыбкой, стоял у прилавка, ожидая, когда привратник после долгого разговора, наконец, подумав, спросит какую-нибудь мелочь — он никогда не покупал больше чем на полдоллара. Но однажды днем Вилли разговорился про то, как ему без конца докучают жильцы и как этот бессовестный жмот, хозяин дома, придумывает ему черт знает какую работу в своей вонючей пятиэтажной трущобе. Он так был поглощен собственным рассказом, что незаметно для себя набрал всякой всячины на три доллара, хотя у него при себе было всего

пятьдесят центов. Вилли стоял с видом побитой собаки, но мистер Панесса, откашлявшись, пропищал, что это неважно, пусть Вилли заплатит, когда сможет. Он еще добавил, что теперь все торговые дела ведутся в кредит, а что такое кредит? Кредит — это значит, что все мы люди, все человеки, ты кому-нибудь поверишь в кредит, а он поверит тебе. Вилли очень удивился — никогда раньше он таких разговоров от лавочников не слышал. Через несколько дней он доплатил два с половиной доллара, но Панесса сказал: пусть берет в кредит когда угодно, и Вилли, пососав трубку, стал набирать всякую всячину.

Когда он принес домой два громадных пакета с продуктами, Этта закричала, что он, наверно, спятил. Вилли объяснил, что он все записал на счет и не заплатил ни гроша.

— Но когда-нибудь придется платить! — крикнула Этта. — А тут у них все дороже, чем в самообслуживании. — И она добавила, как всегда: — Мы с тобой люди бедные, Вилли, мы себе ничего позволить не можем.

И хотя Вилли понимал всю справедливость ее слов, он продолжал ходить в лавку напротив и брать в кредит. Однажды у него в кармане лежала мятая бумажка в десять долларов, а купил он всего на три с лишним, но все же платить не стал и попросил Панессу записать за ним в долг. Этта знала, что у него были деньги, и, когда он признался, что снова взял в долг, она стала кричать на него:

— Ты зачем это делаешь? Почему не платишь, когда есть деньги?

Сначала он слушал молча, потом сказал, что надо же ему когда-нибудь покупать и другие вещи. Он по-

шел в котельную и вынес оттуда пакет, а когда развернул его, там оказалось черное платье, вышитое блестками.

Этта расплакалась над платьем, сказала, что никогда в жизни его не наденет, потому что Вилли покупает ей подарки, только если он в чем-то виноват. Но с тех пор она предоставила ему всю закупку продуктов и ни слова не говорила, когда он забирал в долг.

Вилли продолжал покупать в лавке Панессы. Казалось, они всегда ждали его прихода. Жили они в трех крохотных каморках над лавкой, и стоило миссис Панессе увидеть Вилли в окно, она тут же бежала в лавку. Вилли выходил из своего подвала, переходил улицу и спускался вниз, в лавчонку, сразу заполняя собой все помещение. Каждый раз он покупал не меньше чем на два доллара, а иногда доходил и до пяти. Миссис Панесса укладывала его покупки в большой двойной мешок, после того как Панесса, перечисляя все покупки вслух и размазывая жирный карандаш, записывал цену в свой блокнот. Как только Вилли входил в лавку, мистер Панесса открывал блокнот и, посплюнув палец, перелистывал пустые страницы, пока не находил где-то в середине счет Вилли. Когда покупки были уложены и увязаны, Панесса подсчитывал всю сумму, тыча в цифры карандашом и с присвистом шепча себе под нос каждое число, а птичьи глазки миссис Панессы следили за ним, пока он подводил окончательный итог и записывал всю сумму. И каждый раз, поглядев на Вилли и удостоверившись, что тот следит за

записями, Панесса дважды подчеркивал новую сумму и только тогда закрывал блокнот. Вилли, с нераскурченной трубкой во рту, не двигался, а когда блокнот исчезал под прилавком, он подымался и забирал пакеты. Хозяева каждый раз предлагали помочь ему отнести покупку, а он всегда отказывался и выходил из лавки.

И вот однажды, когда сумма долга составила уже восемьдесят три доллара, мистер Панесса, вытянув шею и улыбаясь, спросил у Вилли, когда он мог бы заплатить хоть немного в счет долга. С этого дня Вилли перестал покупать у Панессы, и Этта снова стала бегать с кошелкой в магазин самообслуживания, и ни она, ни Вилли ни разу не зашли в лавочку напротив, хотя бы за фунтом чернослива или пачкой соли, когда забывали купить их в магазине.

Возвращаясь из магазина, Этта жалась к стенке на своей стороне улицы, чтобы как можно дальше обойти лавочку Панессы.

Как-то она спросила Вилли, заплатил ли он им хоть сколько-нибудь.

Он сказал: нет.

— А когда заплатишь?

Он сказал, что не знает.

Прошел месяц, и как-то за углом Этта столкнулась с миссис Панессой — вид у нее был несчастный, и, хотя она ничего про деньги не сказала, Этта, вернувшись домой, напомнила Вилли о долге.

— Отстань, — сказал он, — хватит мне своих неприятностей.

— Какие у тебя неприятности, Вилли?

— А жильцы, а хозяин, будь они прокляты! — заорал он и хлопнул дверью.

Вернувшись в комнату, он сказал:

— А чем я буду платить? Как был нищим всю жизнь, так и остался.

Этта — она сидела у стола — положила голову на руки и заплакала.

— Чем? — закричал он, и его лицо сморщилось, потемнело. — Мясом своим, да? Золой в глазах? Лужами, что я подтираю? Кашлем своим, что ли, — он меня и во сне душит!

В нем вспыхнула едкая ненависть к Панессе и его жене, и он поклялся не платить им ни одного цента, до того он их ненавидит, особенно этого горбуна за прилавком. Пусть только посмеет ему улыбнуться, проклятушие его глаза, он ему все кости переломает, схватит — и об пол.

В этот вечер Вилли ушел из дому, напился до бесчувствия и всю ночь пролежал в канаве. Он вернулся грязный, с налитыми кровью глазами, но Этта протянула ему фотографию их единственного сына — четырех лет он умер от дифтерита, — и Вилли, заливаясь слезами, поклялся больше не брать в рот ни капли.

Каждое утро, вынося мусорные урны, он старался не смотреть на ту сторону улицы.

— В кредит верят, — издевательски бормотал он, — в кредит...

Настали тяжелые времена. Хозяин велел сократить топку, уменьшить подачу воды. Он и жалованье Вилли сократил и на расходы выдавал меньше. Жильцы злились. Целыми днями они приставали к Вилли, как навозные мухи, а он только говорил, что исполняет приказы хозяина. Тогда они начинали ругать Вилли, а он отругивался. Жильцы позвонили

в санитарную комиссию, но, когда приехали инспекторы, они сказали, что температура не ниже законного минимума, хотя по всему дому ходили сквозняки. Жильцы по-прежнему жаловались на холод и целыми днями изводили Вилли, но он только отвечал, что ему тоже холодно, он совсем замерзает, но ему никто не верил.

Как-то утром, выставляя четыре мусорные урны в ожидании грузовика, он увидел, что мистер и миссис Панесса смотрят на него через дорогу из своей лавчонки. Они прильнули к стеклу входной двери, и, когда он посмотрел на них, в глазах у него помутилось и ему показалось, что там стоят две тощие обшипанные птицы.

Он пошел к соседнему истопнику — взять у него кайло, а когда он возвращался, те двое показались ему голыми, безлистыми кустами, проросшими за деревянной дверью. А за кустами он видел пустые полки.

Весной, когда травинки стали пробиваться сквозь трещины в асфальте, Вилли сказал Этте:

— Я же только жду, когда можно будет заплатить им все сполна.

— Откуда, Вилли?

— Можем накопить.

— Как?

— Сколько мы откладываем в месяц?

— Ничего.

— А сколько ты зажала?

— Ничего у меня не осталось.

— Ну, заплачу им по частям. Богом клянусь, заплачу.

Вся беда была в том, что денег достать было

негде. Но бывало, что, обдумывая всякие способы, как раздобыть монету, Вилли мысленно забегал вперед и представлял себе, что будет, когда он, наконец, сможет им заплатить. Возьмет пачку долларов, стянет их широкой резинкой, потом, поднявшись из своего подвала, выйдет на улицу и по пяти ступенькам спустится в лавочку. И он скажет Панессе: «Ну вот, старичок, держи, наверно, думал, что я никогда не заплачу, другие небось не платят, да я и сам не всегда... Ну, а теперь — всё, вот они тут, под резинкой, крепко держатся».

И, подбросив пачку на ладони, он положит ее на самую середину прилавка, словно делая ход в шашки, и маленький старичок вместе с женой станут ее раскладывать, ахая и охая над каждой мятой долларовой бумажкой и удивляясь, что их так много удалось вложить в такую тугую пачку.

Так мечтал Вилли, только осуществить свою мечту ему не удавалось.

А работал он изо всех сил. Он вставал рано, мылом и жесткой щеткой тер всю лестницу с чердака до подвала, потом протирал ее влажной тряпкой. Он вычистил перила и натер их так, что они сияли по всему ходу, и отполировал порошком и суконкой почтовые ящики до того, что в них можно было глядеться, как в зеркало. Он и себя увидел в отражении — тяжелое лицо с неожиданными рыжими усами, которые он недавно отпустил, коричневую суконную кепку, оставленную недавно выехавшим жильцом в шкафу, среди хлама. Эта помогла ему в работе, и они вычистили весь подвал, вымели темный двор под перекрещенными веревками для белья, торопливо выполняли любую просьбу жильцов, даже тех, кого

недолюбливали, везде чинили раковины или уборные. Работали они оба до изнеможения, с утра до вечера, но, как они и предвидели, денег от этого не прибавилось.

Однажды утром, когда Вилли начищал до блеска почтовые ящики, он нашел в своем ящике письмо. Сняв кепку, он распечатал конверт и, поднеся листок к свету, прочел кривые, дрожащие строчки. Миссис Панесса писала, что муж у нее заболел, лежит дома, и денег у них нет, так что не может ли он заплатить ей хоть десять долларов, остальное подождет.

Он изорвал письмо в клочки и весь день прятался в подвале. Вечером Этта, искавшая его повсюду, нашла его в котельной, за трубами, и спросила, что он тут делает.

Он рассказал ей про письмо.

— Да разве от этого спрячешься? — уныло сказала она.

— А что мне делать?

— Спать иди, чего же еще.

Он лег спать, но на следующее утро вскочил чуть свет, натянул комбинезон и выбежал из дому, накинув пальто на плечи. За углом он нашел ссудную лавку, где ему, к великой его радости, дали за пальто ровно десять долларов.

Но когда он прибежал домой, напротив, у дверей, стояло что-то вроде катафалка и двое в черном выносили знакомого вида сосновый ящик — очень маленький и узкий.

— Это кто помер, ребенок, что ли? — спросил Вилли у кого-то из жильцов.

— Нет, старик, Панесса его фамилия.

Вилли лишился речи. Глотка у него словно окостенела.

Когда сосновый ящик вынесли из дверей, миссис Панесса, согнувшись от горя, в одиночестве просеменила за ним.

Вилли отвернулся.

— Отчего он помер? — хрипло спросил он у жильца.

— А почему я знаю?

Но миссис Панесса, идя за гробом, услышала.

— От старости! — тонким голосом прокричала она.

Вилли хотел сказать что-нибудь хорошее, но язык висел у него во рту, как высохший плод на ветке, а сердце походило на окно, замазанное черной краской.

Миссис Панесса уехала жить сначала к одной дочке с каменным лицом, потом — к другой. А счет так и не был оплачен.

Кесслер, бывший закупщик яиц и масла, жил один, на пособие. И хотя ему давно стукнуло шестьдесят пять, любой оптовик, закупавший масло и яйца, взял бы его на службу, так быстро и умело он разбирал и сортировал товар. Но характер у него был сварливый, его считали склочником, и оптовики обходились без него. Оттого он и ушел с работы и жил один, очень скромно, на свою пенсию. Кесслер занимал тесную дешевую квартирку на верхнем этаже запущенного многоквартирного дома на Ист-Сайде. Никто к нему не ходил, должно быть оттого, что надо было долго подыматься по лестнице. Так он и жил, в одиночестве, как прожил почти всю жизнь. Когда-то у него была семья, но он возненавидел свою жену, своих детей, они ему только мешали, и через несколько лет он от них ушел. Больше они не виделись — он их не искал, да и они о нем не справлялись. Прошло тридцать лет. Он понятия не имел, где они сейчас, и никогда о них не вспоминал.

Хотя он прожил в доме лет десять, его почти никто не знал. Рядом с ним на пятом этаже с одной стороны жила семья итальянцев — три пожилых сына и сухонькая старушка, их мать, а с другой стороны — угрюмая, бездетная немецкая пара по фамилии Гофман. Соседи никогда не окликали его, да и он, встречаясь с ними на узкой деревянной лестнице, никогда не здоровался. Другие жильцы дома, часто видя Кесслера на улице, узнавали его, но считали, что

он живет где-то в другом доме. Лучше всего его знал Игнас, маленький, сгорбленный привратник — они не раз играли вдвоем в пинокль, но Игнас плохо играл в карты, почти всегда проигрывал и в конце концов совсем перестал ходить наверх. Жене он жаловался, что не мог выносить этой вони — квартира хуже помойки, вместо мебели один хлам, тошно смотреть. Привратник и другим жильцам насплетничал про Кесслера, и они чурались его — грязный старикашка! Кесслер все понимал, но презирал их, всех до одного.

Однажды Игнас поругался с Кесслером из-за того, что Кесслер забивал урны для мусора огромными промасленными мешками с отбросами, вместо того чтобы относить их в ведре на помойку. Слово за слово, они стали поносить друг друга на чем свет стоит, и Кесслер вдруг захлопнул дверь прямо перед носом привратника. Игнас бегом спустился с пятого этажа и стал громко ругать старика перед своей бессловесной женой. Случилось так, что Грубер — владелец дома, толстый человек в необъятных мешковатых брюках, с вечно озабоченной физиономией, — ходил по дому, проверяя прохудившиеся водопроводные трубы, и тут Игнас, обозлившись, выложил ему все, что он терпит от Кесслера. Затыкая нос, он описал, какой смрад стоит в квартире Кесслера, — грязнее жильца у них еще не было. Грубер знал, что тот все преувеличивает, но, умученный денежными делами, от которых у него невероятно подсакивало кровавое давление, он, чтобы поскорее отделаться, сказал: «Выселить его!»

С самой войны никто из жильцов не заключал договора с хозяином. И Грубер был спокоен: в случае

каких-нибудь запросов он легко оправдывается, скажет, что выселил Кесслера как нежелательного квартиранта. Он подумал, что можно будет приказать Игнасу наскоро освежить стены квартиры дешевой краской и потом сдать ее на пять долларов дороже, чем платил старик.

В тот же вечер, после ужина, Игнас с видом победителя поднялся по лестнице и постучал к Кесслеру. Тот открыл было дверь, но, увидев, кто там стоит, тут же ее захлопнул. Игнас громко закричал:

— Мистер Грубер велел предупредить: выезжайте отсюда! Тут вам не место! Вы нам весь дом завоняли!

За дверью стояло молчание, но Игнас ждал, наслаждаясь собственным красноречием. Прошло минут пять — и хотя ни звука не было слышно, привратник не уходил, представляя себе, как этот старый еврей трясется там, за дверью.

— Даем вам две недели сроку, — снова заговорил Игнас, — до первого числа, и лучше вам отсюда убраться, не то мы с мистером Грубером сами вас выкинем.

И тут Игнас увидел, что дверь медленно открывается. Неожиданно для себя Игнас при виде старика испугался до смерти. Казалось, не дверь открывается, а покойник поднимает крышку собственного гроба. Но хотя старик и походил на мертвеца, голос у него был как у живого. Страшные хриплые проклятия посыпались на Игнаса, обрекая его на многолетние муки. Глаза старика налились кровью, щеки ввалились, жидкая бородавка мелко тряслась. Казалось, он просто исходит криком. У привратника весь

пыл улетучился, но вынести такой поток ругани он не мог и сам закричал:

— Убирайся-ка отсюда подобру-поздорову, старый бродяга, хватит безобразничать!

И тут Кесслер стал клясться, что сначала им придется убить его, а уж тогда пусть вытащат его труп отсюда!

Утром первого декабря Игнас нашел у себя в почтовом ящике замусоленную бумажку и в ней — двадцать пять долларов — квартирная плата Кесслера. В тот же вечер, когда Грубер пришел получать плату за квартиры, он показал ему эти деньги. Грубер, рассеянно взглянув на бумажки, с отвращением сказал:

— Я же велел вам предупредить его.

— Правильно, мистер Грубер, — сказал Игнас. — Я и предупредил.

— Вот еще цорес на нашу голову, — сказал Грубер. — Дайте мне ключи.

Игнас принес связку запасных ключей, и, хотя Грубер останавливался на каждой площадке, переводя дух, его так донимала одышка и неудержимо льющийся пот, что он окончательно вышел из себя.

Дойдя до пятого этажа, он грохнул кулаком в дверь Кесслера:

— Это Грубер, хозяин. Открывайте!

Изнутри ни ответа, ни малейшего звука. Грубер сунул ключ в замочную скважину и повернул. Но Кесслер забаррикадировал двери комодом и стульями. Груберу пришлось приналечь плечом на дверь, и, толкнув ее, он вошел в прихожую темноватой двухкомнатной квартирki. Старик с бескровным лицом стоял в дверях кухни.

— Сказано вам было — выметайтесь отсюда! —

громко крикнул Грубер. — Выезжайте, или я позволю в полицию.

— Мистер Грубер... — начал было Кесслер.

— Вы мне зубы не заговаривайте, убирайтесь, и все! — Грубер оглядел помещение. — Хлам как у старьевщика, а вонь как в клозете. Тут за месяц не вычистить.

— Так это же пахнет капустой, я варю себе ужин. Погодите, я открою окошко, и весь запах уйдет.

— Сами уйдите, тогда и запах уйдет, — Грубер вытащил распухший бумажник, отсчитал двенадцать долларов, прибавил пятьдесят центов и швырнул деньги на комод. — Даю вам две недели срока, до пятнадцатого, вы к этому времени должны выбраться отсюда, или я подам на выселение. И не возражайте. Уезжайте, отправьтесь куда-нибудь, где вас не знают, может, там пристроитесь.

— Нет, мистер Грубер! — крикнул Кесслер с силой. — Я ничем не провинился, и я отсюда не двинусь!

— Ох, не действуйте мне на давление! — сказал Грубер. — Если вы к пятнадцатому не уберетесь, я сам лично вышвырну вас, как мешок с костями.

Он повернулся и тяжело затопал по лестнице.

Подшло пятнадцатое число — и снова Игнас нашел в почтовом ящике двенадцать с половиной долларов. Он позвонил Груберу и доложил ему об этом.

— Я подам на выселение! — заорал Грубер. Он велел привратнику написать Кесслеру записку, что денег от него не возьмут, и сунуть эту записку вместе с деньгами под дверь.

Игнас так и сделал. Кесслер снова положил деньги в почтовый ящик, но Игнас снова написал записку и сунул с деньгами под двери старика.

Через день Кесслер получил копию ордера на выселение. В бумаге было сказано, что он должен явиться в суд в пятницу, в десять утра, для дачи показаний, если он считает, что нельзя выселять его за длительное нарушение сохранности снятой им площади и приведение таковой в негодное состояние.

При виде этой официальной бумаги Кесслера охватил страх: никогда в жизни его не вызывали в суд. И в назначенный срок он туда не явился.

В тот же день полицейский надзиратель пришел к нему с двумя мускулистыми понятыми. Игнас открыл им двери Кесслера своим ключом, а когда те ввалились в квартиру Кесслера, Игнас убежал и спрятался в подвале. Сколько Кесслер ни вопил и ни метался, понятые аккуратно вынесли жалкую мебель на улицу, после чего вывели и самого Кесслера, хотя им пришлось взломать дверь уборной, где заперся старик. Он кричал, брыкался, взывал к соседям о помощи, но они столпились в дверях и смотрели, не говоря ни слова. Старик брыкался и визжал, но понятые, крепко держа его за руки и за тощие ноги, понесли вниз и усадили на стул среди его барахла. Наверху полисмен запер квартиру на запасенный Игнасом замок, подписал бумагу, отдал ее жене прихватника и уехал на машине со своими помощниками.

Кесслер сидел на тротуаре, в сломанном кресле. Шел дождь, потом посыпался мокрый снег, а старик все сидел и сидел. Прохожие обходили стороной его имущество. Они смотрели на Кесслера, а он смотрел в пустоту.

На нем не было ни пальто, ни шляпы, снег сыпался ему на голову, и вскоре он сам стал похож на ка-

кой-то предмет из его рухляди, выброшенной на улицу. Но тут вернулась домой его соседка по этажу — старуха итальянка с двумя сыновьями, нагруженными покупками. Узнав Кесслера, она завопила на всю улицу. Она что-то кричала Кесслеру по-итальянски, но он не обращал на нее внимания. Стоя на пороге, маленькая, сморщенная, она размахивала тощими руками, шлепая беззубым ртом. Сыновья пытались ее успокоить, но она не умолкала. На шум сбежались соседи — узнать, кто так кричит. Наконец ее сыновья, не зная, что придумать, подняли Кесслера со стула и понесли наверх. Гофман, второй сосед Кесслера, отпилил замок маленьким напильником, и Кесслера внесли в квартиру, из которой его выселили. Игнас орал на жильцов, ругал их по-всякому, но трое мужчин спустились на улицу и отнесли наверх кесслеровские стулья, хромоногий стол и старую железную кровать. Всю мебель они снесли в спальню. Кесслер сел на краешек кровати и заплакал. И только после того, как старуха итальянка принесла суповую тарелку, полную горячих, посыпанных сыром макарон в томате, все ушли из квартиры.

Игнас позвонил Груберу. Хозяин как раз обедал, и еда комом остановилась у него в глотке.

— Всех их выкину, сволочей! — заорал он. Схватив шляпу, он сел в свою машину и поехал по заслякоченному снегу в дальний квартал. По дороге он думал, сколько у него неприятностей — как дорого стоит ремонт, как тяжело содержать эти трущобы, — они вот-вот грозят развалиться, про такой дом и в газетах писали: вдруг вся передняя стена отделилась и упала на улицу, как морской вал на берег.

Грубер проклинал старика — зачем испортил ему

ужин. Доехав до дома, он выхватил у Игнаса ключи, и лестница затрещала под его шагами. Игнас сунулся было за ним, но Грубер крикнул, чтоб он не лез, черт его дери, куда не велят. Но когда хозяин отошел, Игнас на цыпочках поднялся за ним.

Грубер повернул ключ и вошел. В квартире было темно. Он повернул выключатель и увидел, что старик, сгорбившись, сидит на краю кровати. У его ног стояла тарелка с застывшими макаронами.

— Вы что тут делаете? — загремел Грубер.

Старик не пошелохнулся.

— Вы против закона пошли, понятно? Это взлом, вы закон нарушили. Ну отвечайте, поняли?

Но Кесслер словно онемел.

Грубер вытер лоб большим застиранным платком.

— Слушайте, приятель, вы на себя такие неприятности накликаете, что просто ужас. Погодите, вот вас тут поймают и отправят в работный дом. Я же вам добром говорю.

Неожиданно Кесслер поднял на него глаза, полные слез.

— Что я вам сделал, что? — заплакал он. — Кто это выбрасывает из дому человека, если он десять лет тут жил, каждый месяц платил вовремя? Что я вам сделал, скажите мне? За что обижают человека? Вы кто, Гитлер или еврей? — Он бил себя в грудь кулаком.

Грубер снял шляпу. Он слушал молча, не зная, что сказать, но потом заговорил:

— Слушайте, Кесслер, разве это против вас лично? Это мой дом, и мой дом разваливается на куски. Налоги я плачу — не дай бог никому. Жильцы должны соблюдать порядок, не то пусть выезжают. Вы

порядка не соблюдаете, вы ссоритесь с моим управляющим, значит, вам надо выезжать. Выезжайте утром, и я ни слова не скажу. Но если вы не уедете, вас опять вынесут силком. Я позвоню в полицию.

— Слушайте, мистер Грубер, — сказал Кесслер. — Я никуда не уйду. Хотите — убейте меня, но я не уйду.

Игнас успел отскочить от двери, когда оттуда вылетел разгневанный Грубер. На следующее утро, после бессонной от забот ночи, хозяин решил поехать к судебному исполнителю. По дороге он остановился у лавки — купить пачку сигарет, и тут решил еще раз переговорить с Кесслером. Ему пришла мысль: надо предложить старику устроить его в богадельню.

Он подъехал к дому и постучал к Игнасу.

— Что он еще там, этот старый шут?

— Не знаю, мистер Грубер, — растерянно сказал Игнас.

— То есть как это не знаете?

— Не видно, чтоб он выходил. Утром я заглядывал к нему в замочную скважину, там никто не движется.

— Чего же вы не открыли двери своим ключом?

— Побоялся, — робко сказал Игнас.

— Чего вы боитесь?

Но Игнас не ответил.

Страх вдруг пронзил и Грубера, но он не показал виду. Схватив ключ, он тяжело поднялся по лестнице, изредка прибавляя шагу.

На стук никто не ответил. Потев от страха, Грубер отпер двери.

Но старик был жив — он сидел на полу спальни без башмаков.

— Слушайте, Кесслер, — заговорил хозяин, чувствуя, как кровь приливает к голове. — Я тут кое-что придумал, вы меня только послушайте — и всем вашим неприятностям конец.

Он объяснил Кесслеру свой план, но старик не слушал. Глаза его были опущены, он медленно раскачивался всем телом из стороны в сторону. И пока хозяин что-то ему втолковывал, Кесслер снова вспоминал все, о чем он передумал, сидя на тротуаре под мокрым снегом. Он перебрал в уме все годы своей несчастной жизни, вспомнил, как еще в молодости он бросил на произвол судьбы свою семью, ушел от жены и трех ни в чем не повинных малюток, даже не пытаясь их обеспечить, и за все прошедшие годы ни разу — господи, помилуй его! — даже не пробовал узнать, живы они или нет. И как это за одну короткую жизнь человек может сделать столько зла? Сердце болело при одной этой мысли, и, без конца вспоминая прошлое, он стонал, раздирая лицо ногтями.

Грубер со страхом смотрел, как страдает Кесслер. Может, оставить его тут, подумал он. Вглядевшись в старика, он вдруг понял, что тот, скрючившись на полу, кого-то оплакивает. Белый как мел от поста, он раскачивался из стороны в сторону, и редкие волоски на подбородке казались тенью прежней бороды.

Что-то тут неладно, подумал Грубер, стараясь понять, в чем дело, что его так давит. Он чувствовал: надо бежать, поскорее отсюда выбраться, и вдруг ему померещилось, как он падает и катится с лестницы, с пятого этажа, и он застонал, словно уже валялся внизу, разбившись насмерть. Да нет же, он все еще

стоит в спальне Кесслера, слушает, как молится старик. «Умер кто-то?» — пробормотал Грубер. Наверно, Кесслер получил известие о чьей-то смерти, подумал он, но инстинктивно понял, что это неправда. И вдруг со страшной силой ударила мысль: это его оплакивает Кесслер, он сам и есть покойник.

Ужас охватил хозяина. Обливаясь холодным потом, он чувствовал, как страшная гнетущая тяжесть медленно ползет кверху и голова вот-вот лопнет. Целую минуту он ждал — сейчас его хватит удар. Но ощущение тяжести прошло без боли, осталась только горечь.

Отдышавшись, он оглядел комнату — в ней было убрано, светло, пахло чистотой. А он так подло обошелся со стариком, подумал Грубер с невыносимым чувством вины.

И он не выдержал. Плача от стыда, он сорвал простыню с постели Кесслера и, завернувшись в нее, тяжело грохнулся на колени, вторым плакальщиком в этом доме.

Туфли для служанки

Служанка оставила записку у жены швейцара. Она ей сказала, что ищет постоянной работы, возьмется за любую, но лучше бы не у какой-нибудь старухи. Конечно, если ничего другого не будет, придется согласиться и на это. Ей было сорок пять лет, но выглядела она старше. Лицо у нее было изможденное, зато волосы черные, глаза и губы красивые. Хороших зубов у нее осталось мало, и когда она смеялась, то неловко поджимала губы. Несмотря на то, что в Риме ранним октябрём стояли холода и продавцы каштанов уже помешивали раскаленный уголь в жаровнях, на служанке было только поношенное ситцевое платье черного цвета, разорванное на левом боку, — там разошелся шов и виднелось белье. Она уже много раз его зашивала, но сегодня он снова лопнул. На полных, красивой формы ногах не было чулок, одни шлепанцы: разговаривая со швейцарихой, она держала под мышкой башмаки в бумажном мешке — сегодня она стирала поденно у одной синьоры, неподалеку. На холмистой улице стояло три сравнительно новых, многоквартирных дома, и в каждой она оставила записку со своим адресом.

Швейцариха, тучная женщина в коричневой твидовой юбке, подаренной англичанами, когда-то жившими в этом доме, сказала, что просьбу служанки не забудет, но забыла. Вспомнила она ее только, когда профессор-американец занял квартиру на пятом этаже и попросил швейцариху найти ему служанку. Сначала швейцариха привела ему девушку, жившую по

соседству, шестнадцатилетнюю крестьянку, недавно приехавшую из Умбрии. Девушка пришла со своей теткой, но профессору Орландо Кранцу особенно не понравилось, что тетка подчеркивала какие-то исключительные достоинства девушки, и он отослал их обратно. Он сказал швейцарихе, что ему нужна женщина постарше — он не желает никакого беспокойства. И тут швейцариха вспомнила о служанке, оставившей свой адрес, пошла к ней на квартиру, на виа Аппиа, неподалеку от катакомб, и сказала, что американец ищет прислугу, *mezzo servizio* * и что она даст ей адрес этого американца, если та ее поблагодарит. Служанка — звали ее Роза — пожалала плечами и посмотрела вдаль. Ей нечего дать, сказала она.

— Вы посмотрите, в чем я хожу, — добавила она. — Гляньте на эту развалюху — разве ее назовешь домом? Живу тут с сыном и его сукой-женой, она каждую ложку супа у меня во рту считает. Они мне в душу плюют, а у меня, кроме души, ничего на свете нет.

— В таком разе я вам ничем помочь не могу, — сказала швейцариха. — Мне тоже надо о себе и о муже подумать.

Но потом она все-таки вернулась с автобусной остановки и сказала: ладно, она порекомендует Розу этому американскому профессору, если та пообещает дать ей пять тысяч лир из первой полочки.

— А сколько он будет платить? — спросила Роза.

— Я бы спросила восемнадцать тысяч в месяц. Скажи, что тебе на дорогу каждый день надо двести лир.

* Приходящую (*итал.*).

— Да так оно почти и есть, — сказала Роза. — Сорок туда и сорок обратно. Ну, если он мне заплатит восемнадцать тысяч, я тебе выдам пять, только дай расписку, что больше я тебе ничего не буду должна.

— Дам, дам, — сказала швейцариха и порекомендовала служанку американскому профессору.

Орlando Кранц был нервный господин шестидесяти лет. У него были кроткие серые глаза, крупные губы и острый подбородок с ямкой. На круглой голове сияла лысина, и, хотя он был довольно худ, у него уже явно обозначался животик. Конечно, вид у него странноватый, сказала Роза швейцарихе, зато он знаменитый юрист. Целый день профессор сидел и писал у себя в кабинете, но каждые полчаса он вставал под каким-нибудь предлогом и, нервничая, ходил по дому. Он все чего-то беспокоился и выходил из кабинета посмотреть, как там и что. Посмотрев, как работает Роза, он возвращался в кабинет и снова садился писать. А через полчаса он опять выходил оттуда, как будто вымыть руки в ванной или выпить стакан воды, но на самом деле мимоходом смотрел, что делает Роза. А она делала свое дело. Работала она быстро, особенно когда он смотрел. Вид у нее несчастный, думал он, впрочем, это не его дело. У таких людей жизнь всегда нескладная, а часто и совсем немыслимая — он это знал, — так что лучше держаться от них подальше.

Профессор жил в Италии второй год — сначала в Милане, потом в Риме. Он снимал большую квартиру с тремя спальнями — в одной из них он устроил себе кабинет. Две другие спальни были для жены и дочери — в августе они уехали погостить домой,

в Америку, и скоро должны были вернуться. Когда его дамы вернутся, сказал он Розе, он возьмет ее на полный день. В квартире есть комната для прислуги — она сможет там жить. Да она и сейчас пользовалась этой комнаткой, хотя и приходила только с девяти до четырех. Роза согласилась поступить к нему живущей — и на еду ей тогда тратиться не придется и не надо будет платить за квартиру сыну и этой сукиной дочке, его жене.

А пока миссис Кранц с дочерью не приехали, Роза ходила за покупками и готовила. Придя утром, она подавала профессору завтрак, а в час дня — второй завтрак. Она предлагала, что останется после четырех и приготовит ему обед — он обедал в шесть вечера, но он предпочитал ходить в ресторан. Сделав все покупки, Роза убирала дом, тщательно протирала мраморные полы мокрой тряпкой, надетой на палку, хотя профессору казалось, что полы вовсе не грязные. Она стирала и гладила все его белье. Вообще она работала хорошо и торопливо шлепала туфлями из комнаты в комнату, так что она часто кончала на час раньше того времени, когда ей полагалось уйти домой. Тогда она уходила в комнатку для прислуги и читала там «Темпо» или «Эпоку», а иногда и какую-нибудь романтическую историю с фотографиями и подписями курсивом под каждой картинкой. Иногда она раскладывала койку и ложилась погреться под одеяло. Погода стояла дождливая, и в квартире стало холодно и неуютно. Управляющий этим домом по традиции незапамятных времен не разрешал топить до пятнадцатого ноября, и, если холода, как в этом году, наступали раньше, жильцы могли греться как им вздумается. Холод мешал профессору — он ра-

ботал в перчатках и шляпе, ужасно нервничал и все чаще выходил из кабинета посмотреть, что делает Роза. Поверх костюма он надевал толстый халат, а иногда, приложив грелку к пояснице, привязывал ее под пиджаком поясом от халата. Бывало, что он работал за письменным столом, сидя на грелке, и Роза, увидев это однажды, улыбнулась, прикрывая рот рукой. Если он оставлял грелку в столовой после второго завтрака, Роза просила позволения взять ее. Обычно он это разрешал, и Роза работала, прижимая грелку локтем к животу. Она жаловалась, что у нее больная печень. Поэтому профессор не возражал, чтобы она полежала в комнате для прислуги перед уходом домой.

Однажды, когда Роза ушла домой, профессор, почуввав в коридоре запах табака, зашел осмотреть комнату для прислуги. Это была длинная каморка с узкой койкой, убиравшейся в стену, и маленьким зеленым шкафчиком, рядом была крохотная уборная и сидячая ванна с холодным краном. Роза часто стирала в этой ванне на доске, но, насколько он знал, никогда там не мылась. Накануне именин невестки она попросила позволения принять горячую ванну в его ванной комнате, и, минуту поколебавшись, профессор дал разрешение.

Зайдя в комнатку, профессор открыл нижний ящик шкафчика и нашел там склад окурков, которые он оставлял в пепельнице. Заметил он также, что Роза подбирает старые газеты и журналы из корзинки для бумаг. Копила она и куски бечевки, бумажные пакеты, резинки и огрызки карандашей, которые он выбрасывал. Узнав об этом, он стал отдавать ей остатки мяса от завтрака и подсохшие куски сыру,

и она забирала их домой. За это она приносила ему цветы. Как-то она принесла пару грязных яиц, сне-сенных невесткиной курицей, но он поблагодарил ее и сказал, что ему вредно есть желтки. Он заметил, что ей нужны башмаки: те, что она надевала перед уходом домой, прохудились во многих местах, и она вечно ходила все в том же черном платье с дыркой на боку, что его очень смущало, когда он с ней разговаривал. Впрочем, решил он, скоро придет жена — пусть она этими делами и зай-мется.

Роза понимала, что работа ей досталась не пло-хая. Профессор платил хорошо и аккуратно и нико-гда не отдавал ей приказаний с высокомерным видом, как некоторые из ее хозяев-итальянцев. Правда, он был какой-то нервный, суетливый, но человек, видно, не злой. Главный его недостаток, что он такой неразго-ворчивый. Хоть он и говорил по-итальянски вполне бегло, но, даже когда не работал, предпочитал молча сидеть в кресле в гостиной и читать. Во всей квартире их всего двое, казалось бы, почему им не поговорить друг с другом? Иногда, когда он читал, она, подавая ему кофе, пыталась вернуть хоть сло-вечко про все свои огорчения. Хотелось рассказать, как она долго и горько вдовела, каким нехорошим вырос ее сын и как невозможно ужиться с невесткой. Но хотя он вежливо ее выслушивал, хотя они встре-чались изо дня в день и даже иногда пользовались одной грелкой и мылись в той же самой ванне, раз-говор между ними никак не клеился. Даже с галкой и то можно было бы лучше поговорить, и к тому же он явно хотел, чтобы его оставили в покое. Она пере-стала его беспокоить, и ей было очень одиноко в пустой

квартире. Конечно, есть свои выгоды, когда работаешь на иностранцев, но и невыгод много.

Через некоторое время профессор заметил, что после обеда Розу, как всегда отдохавшую в маленькой комнатке, стали регулярно вызывать по телефону. На следующей неделе после таких звонков она уже не сидела у профессора до четырех, а просила разрешения уйти пораньше. Сначала она говорила, что у нее заболела печенка, но потом стала уходить без всякого предлога. Хотя профессор не очень одобрял такое поведение — только распусти ее, и она сядет тебе на голову, но все же он ей сказал, что до приезда жены она может два раза в неделю уходить в три часа, разумеется, если вся работа по дому будет сделана. Он отлично знал, что она успевала все сделать, но считал необходимым ее предупредить. Она выслушала его смиренно, хотя глаза у нее горели, а губы вздрагивали, и смиренно согласилась. Потом, вспоминая этот разговор, профессор подумал, что, по всей видимости, у Розы в жизни случилось что-то очень хорошее — как к этому ни относиться, — наконец-то она изменится и лицо у нее из несчастного станет счастливым. Однако ничего такого не случилось, и незаметно наблюдая за ней в те дни, когда она уходила раньше, он видел, что она очень озабочена и грустно вздыхает, словно у нее что-то лежит на сердце.

Но он ни разу не спросил, что с ней, — в такие дела лучше не вмешиваться. У этих людей вечно неприятности, раз вмешаешься — и конца этому не будет. Он знал одну женщину, жену его коллеги, которая сказала своей прислуге: «Луcretция, я вам очень сочувствую, но ни про какие ваши неприятности

знать не хочу». И, по мнению профессора, так и следует поступать. Отношения между хозяином и служанкой должны быть именно такими, то есть совершенно обезличенными. В конце концов в апреле он уедет из Италии и больше никогда в жизни не увидит Розу. А для нее будет в тысячу раз лучше, если, скажем, дать ей небольшой чек на рождество, чем без конца вникать во все ее несчастья. Профессор сознавал, что он человек нервный и часто раздражается, и это его несколько огорчало, но какой он есть, такой есть, и ему лучше оставаться в стороне от всего, что его лично не касается.

Но Роза никак с этим не мирилась. Однажды утром она постучала в двери кабинета, и, когда он сказал «*avanti*»*, она вошла такая смущенная, что он и сам смутился, прежде чем она заговорила.

— Профессор, — сказала Роза несчастным голосом, — пожалуйста, простите, что я вам мешаю работать, но мне так нужно с кем-нибудь поговорить.

— Знаете, я сейчас очень занят, — сказал он, уже начиная сердиться. — Нельзя ли подождать?

— Да я только на минуточку. Горе тебя всю жизнь давит, а рассказать можно за одну минуту.

— У вас опять печень болит? — спросил он.

— Нет, мне от вас нужен совет. Вы человек образованный, а я темная крестьянка.

— Какой еще совет? — нетерпеливо спросил он.

— Называйте как хотите, но мне необходимо с кем-нибудь поговорить. С сыном я разговаривать не могу, да и вообще с ним о таком не поговоришь. Я только рот открою, а он уже орет на меня. А на

* Войдите (*итал.*).

невестку и слов тратить нечего. Иногда на чердаке вешаешь белье, ну и перекинешься словцом со швейцарихой, только от нее сочувствия не дождешься; нет, кроме вас, мне поговорить не с кем. Сейчас я вам все объясню.

И не успел он изложить свое отношение к подобным исповедям, как Роза уже начала рассказ: она встретила с одним человеком — он пожилой, работает в налоговом управлении, женатый, четверо детей. Немного подрабатывает после службы, кончает в два часа, потом столярничает. Зовут его Армандо, это он звонит ей по телефону в конце дня. Повстречались они в автобусе, и через две-три встречи он увидел, что ее башмаки никуда не годятся, и стал ее уговаривать, что он ей купит новые. Она ему сказала: бросьте глупости. Видать, у него у самого денег в обрез, хватит, что он ее водит в кино два раза в неделю. Все это она ему выложила, и все же, стоит им встретиться, он опять говорит, что хочет купить ей туфли.

— Я же все-таки человек, — откровенно сказала Роза, — обувь мне нужна до зарезу, но тут бог знает что может выйти. Надену его туфли, а они меня и поведут к нему в постель. Вот я и подумала: надо мне с вами посоветоваться, брать от него туфли или нет?

У профессора покраснело не только лицо, но и лысина.

— Не знаю, как это я могу вам посоветовать...

— Вы же образованный человек!

— Впрочем, — продолжал профессор, — так как ситуация вполне гипотетическая, то я считаю, что вы обязаны сказать этому щедрому джентльмену, что он

должен главным образом направить свои заботы на свое собственное семейство. Он поступил бы гораздо благоразумнее, если бы не предлагал вам подарки, а вы, со своей стороны, принимать их не должны. А если вы подарков не примете, он никаких претензий к вам, как к женщине, предъявлять не сможет. Вот все, что я считаю нужным вам сказать. И потом это ваше дело, а никак не мое. Но раз уж вы попросили совета, я вам дал совет — больше я ничем помочь не могу.

Роза вздохнула:

— По правде говоря, мне туфли вот как нужны. На мои смотреть стыдно, их словно коза сжевала. У меня новой обуви уже лет шесть не было.

В этот день после ухода Розы профессор, обдумав все ее беды, решил купить ей пару туфель. Его беспокоило одно: не ждет ли она от него подарка, не затеяла ли она все это, так сказать, в надежде, что он пойдет ей навстречу. Но так как это была только его гипотеза, без всяких доказательств, то он принял решение: пока нет никаких улик против нее, считать, что она спрашивала совет бескорыстно. Он подумал было, что надо ей выдать пять тысяч лир — пусть сама купит себе обувь и тем избавит его от возни, но тут же усомнился: нет никакой гарантии, что она истратит деньги по назначению. А вдруг она явится на следующий день и скажет, что у нее заболела печень, пришлось вызывать врача, и он взял три тысячи лир за визит — словом, не может ли профессор, учитывая эти неприятные обстоятельства, выдать ей еще три тысячи лир на обувь? Нет, этого допустить нельзя, и на следующее утро, когда служанка ушла в лавку, профессор пробрался в ее комнату и тороп-

ливо очертил на бумаге размер ее жалкой туфли — задача не из приятных, но он быстро ее выполнил. Вечером, в магазине около ресторана, где он любил обедать, он купил Розе пару коричневых туфель за пять с половиной тысяч лир — немного дороже, чем он рассчитывал. Но туфли были прочные, на шнурках, для улицы, на среднем каблуке — очень полезный подарок.

Он вручил их Розе на следующий день, в среду. Он был немного смущен, отдавая ей туфли; выходило, что, несмотря на все свои слова, он все же вмешался в ее дела. Но он считал, что этот подарок во многих отношениях психологически обоснован.

Подавая ей туфли, он сказал:

— Роза, кажется, я нашел выход из той ситуации, о которой вы со мной консультировались. Вот вам пара новых туфель. Сообщите вашему знакомому, что вы отказываетесь от его подарка. Было бы разумно, если бы вы тут же информировали его, что с этих пор вы решили встречаться с ним не столь часто.

Роза была вне себя от радости: как профессор к ней добр! Она попыталась поцеловать его руку, но он засунул руку за спину и сразу ушел в кабинет. В четверг, когда раздался звонок и он впустил Розу, на ней были его туфли. Она подала профессору большой бумажный мешок — в нем было три маленьких апельсина еще на ветке, с зелеными листьями. Он сказал: не надо было покупать их, но Роза, улыбаясь полусжатыми губами, чтобы не показывать зубы, сказала, что она только хотела выразить ему благодарность. Позже она попросила разрешения уйти в три часа: ей надо показать Армандо свои новые туфли.

Профессор сухо сказал:

— Можете уйти и в это время, если только все у вас будет сделано.

Она рассыпалась в благодарностях. Торопливо закончив работу, она ушла сразу после трех, но профессор, который стоял в дверях кабинета в шапке, перчатках и теплом халате, нервно разглядывая, хорошо ли вымыт пол в коридоре, успел увидеть, как она выбежала из квартиры в нарядных черных туфельках с острыми носами. Он очень рассердился, и, когда Роза явилась на следующее утро, он, несмотря на все ее мольбы, сказал, что он ее увольняет: пусть это будет ей наукой за то, что она оставила его в дураках. Она рыдала, просила простить ее, но он был тверд в своем решении. С отчаянием она завернула в газету все мелочи, лежавшие в ее комнатухе, и ушла, заливаясь слезами. После этого профессор совсем расстроился и разнервничался. Весь день ему казалось, что в доме невыносимый холод, и он совсем не мог работать.

Ровно через неделю, когда в доме включили отопление, в дверях появилась Роза и стала просить, чтобы профессор опять взял ее к себе. Она была ужасно расстроена и, осторожно дотрагиваясь до синяка на распухшей верхней губе, сказала, что ее избил сын. С глазами, полными слез, сдерживаясь, чтобы не заплакать, Роза объяснила, что приняла обе пары туфель не по своей вине. Армандо подарил ей туфли раньше и заставил ее взять их — видно, ревновал, боялся, что появится соперник. А когда профессор был так добр, что подарил ей вторую пару, она хотела отказаться, но побоялась, что он рассердится и откажет ей от места. И это истинная правда. Она

клянется господом богом и святым Петром. И она обещает, что встретится с Армандо — она его уже неделю не видела — и вернет ему туфли, лишь бы профессор взял ее опять. А если не возьмет, она бросится в Тибр. И хотя профессор терпеть не мог таких разговоров, он почувствовал к ней какую-то жалость. Он и сам считал, что вел себя с ней неправильно. Лучше было бы сказать несколько внушительных слов насчет честности вообще, а потом с философическим спокойствием забыть обо всем. А рассчитав ее, он только сделал хуже и ей и себе: за эту неделю он сменил двух служанок и увидел, что они никуда не годятся. Одна оказалась воровкой, другая — лентяйкой. В результате дом превратился бог знает во что, и работать он не мог, хотя швейцариха приходила каждое утро на час делать уборку. Нет, ему повезло, что Роза именно сейчас появилась в дверях. Когда она сняла пальто, он с удовлетворением заметил, что шов на платье наконец-то зашит.

Она решительно взялась за уборку, чистила, мыла, натирала все вокруг до блеска. Она разобрала постели, перестелила их, вымела сор, вычистила и отполировала спинки кроватей, разостлала свежeweгглаженные покрывала. И хотя она и вернулась на работу и делала все тщательно, как всегда, вид у нее, как заметил профессор, был грустный, она часто вздыхала и только старалась улыбаться, когда он на нее смотрел. Тут у всех характер такой, подумал он, уж очень у них жизнь трудная. Чтобы ей не терпеть побои от сына, профессор разрешил ей жить у него. Он предложил давать немного лишних денег — пусть покупает себе мясо на ужин, но она отказалась: ей хватит и пасты. По вечерам она только

и ела, что пасту и зеленый салат. Иногда, если от завтрака оставался артишок, она его варила и съедала с маслом и уксусом. Профессор предлагал ей белое вино и фрукты — все стояло в шкафу, но она только изредка позволяла себе взять что-нибудь и каждый раз докладывала ему, сколько чего взято, хотя он постоянно внушал ей, что это вовсе не нужно. В квартире царил порядок. И хотя телефон звонил ежедневно, ровно в три часа, Роза, поговорив с Армандо, выходила из дому очень редко.

Но в одно унылое утро Роза пришла к профессору и с несчастным лицом сообщила ему, что она беременна. Глаза ее горели отчаянием, сквозь расползшийся шов просвечивало белье.

Ему стало ужасно неприятно: и зачем только он опять взял ее на работу?

— Придется вам немедленно уйти, — сказал он, стараясь, чтобы голос не дрогнул.

— Не могу! — сказала она. — Сын меня убьет. Ради бога помогите мне, профессор!

Ее глупость взбесила его:

— Не желаю я вмешиваться в ваши дела!

— Нет, вы должны мне помочь! — простонала она.

— Это все ваш Армандо? — спросил он ее свирепо.

Она кивнула головой.

— Вы ему сообщили?

— Да.

— И что он сказал?

— Говорит, что не верит. — Она попыталась улыбнуться, но не смогла.

— Я его сумею убедить! — сказал он. — У вас есть номер его телефона?

Она сказала: есть. Профессор позвонил Армандо на службу и попросил его немедленно явиться к нему на квартиру.

— У вас есть серьезные обязанности по отношению к Розе, — сказал профессор.

— У меня есть серьезные обязанности по отношению к моей семье, — ответил Армандо.

— Об этом надо было думать раньше.

— Хорошо, я зайду к вам завтра, после работы. Сегодня не могу. Сегодня мне надо кончать заказ, столярную работу.

— Завтра она будет вас ждать, — сказал профессор.

Повесив трубку, профессор почувствовал, что уже не так сердится, но все же волнуется больше, чем надо.

— А вы уверены в своем положении? — спросил он Розу. — Вы уверены, что забеременели?

— Да, — и она расплакалась. — Завтра день рождения сына. Хороший ему будет подарок — узнать, что мать у него шлюха. Он мне все кости переломает, не руками, так зубами перегрызет.

— Все же маловероятно, что вы могли зачать в таком возрасте.

— Моя мать родила в пятьдесят лет.

— Но разве вы не могли ошибиться?

— Сама не знаю. Раньше со мной такого не случилось. Ведь я уже давно вдовею.

— Так надо точно узнать.

— Я и сама хочу узнать, — сказала Роза. — Хотела пойти к бабке на нашей улице, да у меня ни од-

ной лиры нету, все истратила, когда сидела без работы, даже на трамвай пришлось занимать, чтобы к вам приехать. Армандо мне сейчас помочь не может. Ему на этой неделе платить за зубы — его жена зубы лечит. У нее зубы скверные, у бедняги. Потому я к вам и обратилась. Вы бы дали мне вперед тысячи две, тогда я смогу пойти к бабке.

Нет, надо этому положить конец, подумал профессор. Но потом достал из бумажника два билета по тысяче лир и подал Розе.

— Идите к ней сейчас же, — сказал он. Он хотел добавить, что если она действительно в положении, то пусть сюда не возвращается, но побоялся: а вдруг она что-нибудь сделает над собой или соврет, чтобы остаться у него служить? А он не хотел больше видеть ее. Когда он думал, что жена и дочь приедут и застанут тут всю эту неразбериху, он начинал страшно нервничать. Надо было избавиться от этой служанки как можно скорее.

На следующий день Роза явилась в двенадцать, а не в девять, как обычно. Ее смуглое лицо было бледно.

— Простите, что опоздала, — прошептала она, — я ходила молиться на могилу к мужу.

— Ничего, ничего, — сказал профессор. — А у акушерки вы были?

— Нет еще.

— Почему? — он старался говорить спокойно, хотя уже начинал сердиться.

Она устала в пол.

— Пожалуйста, отвечайте на мой вопрос.

— Хотела я вам сказать, что потеряла ваши две

тысячи в автобусе, да вот побывала на могиле мужа и теперь скажу вам правду. Все равно вы узнаете.

Какой ужас, — подумал он. — Этому же конца и краю не видно.

— Что же вы сделали с деньгами?

— Я про то и говорю, — вздохнула Роза. — Купила сыну подарок. Хоть не стоит он этого, да ведь у него же день рождения! — И она залилась слезами.

Он смотрел на нее с минуту, потом сказал:

— Попрошу вас пройти со мной!

Профессор вышел из квартиры как был, в халате, Роза вышла за ним. Открыв дверцы лифта, он пропустил ее вперед. Она вошла в лифт.

Двумя этажами ниже профессор остановил лифт. Он вышел и близорукими глазами стал читать фамилии на медных дощечках под звонками. Найдя то, что ему было нужно, он нажал кнопку. Горничная отворила двери и пропустила их вперед. Она испуганно посмотрела на Розу — вид у нее был страшный.

— Доктор дома? — спросил профессор.

— Сейчас узнаю.

— Пожалуйста, попросите его принять меня на минуту. Я живу в этом же доме, двумя этажами выше.

— *Si, signore* *, — она покосилась на Розу и прошла в комнаты.

К ним вышел доктор-итальянец — невысокий пожилой человек с бородкой. Профессор раза два встречался с ним в подъезде их жилого дома. Доктор застегивал манжету рубашки.

— Простите, что беспокою вас, сэр, — сказал

* Хорошо, синьор (*итал.*).

профессор. — Это моя служанка, она в некотором затруднении. Ей хотелось бы определенно знать, в положении она или нет. Вы не могли бы ее посмотреть?

Доктор взглянул на него, потом на Розу — та прижала платок к глазам.

— Пусть пройдет ко мне в кабинет.

— Благодарю вас, — сказал профессор, и доктор наклонил голову.

Профессор поднялся к себе. Через полчаса позвонил телефон.

— Pronto*.

Звонил доктор.

— Нет, беременности нет, — сказал он. — Она просто перепугана. Кроме того, у нее больная печень.

— Вы уверены, доктор?

— Да.

— Благодарю вас, — сказал профессор. — Если вы ей выпишите лекарство, пожалуйста, пришлите счет мне. И за визит тоже.

— Хорошо, — сказал доктор и повесил трубку.

Роза вошла в кабинет.

— Доктор вам сказал? — спросил профессор. — Никакой беременности нет.

— Пресвятая дева помогла! — сказала Роза.

— Да, вам повезло.

И, стараясь говорить спокойно, профессор сказал, что ей придется уйти.

— Мне очень жаль, Роза, но я просто не могу, чтобы меня постоянно вмешивали в такие дела. Меня это расстраивает, мешает работать.

— Понимаю, — сказала она и отвернулась.

* Слушаю! (*итал.*).

Раздался звонок. Это пришел Армандо, маленький худощавый человек в длинном сером пальто. Его широкая черная шляпа была лихо заломлена, усики у него были маленькие, а глаза темные и тревожные. Он снял шляпу.

Роза сказала ему, что уходит отсюда.

— Позвольте тогда помочь вам с вещами, — сказал Армандо. Он пошел с ней в комнатку для прислуги, и они завернули все вещи Розы в газету.

Когда они вышли из комнаты — Армандо с кошелкой, Роза с коробкой от обуви, завернутой в газету, профессор отдал ей остатки ее жалованья.

— Мне очень жаль, — повторил он, — но я должен подумать о жене и о дочке: они приезжают через несколько дней.

Она ничего не ответила. Армандо, с окурком сигареты в зубах, предупредительно открыл ей двери, и они вышли вместе.

Позже профессор обследовал комнату для прислуги и увидел, что Роза забрала все свои вещи, кроме туфель, которые он ей подарил. Когда приехала его жена, она перед Днем благодарения подарила туфли швейцарихе, а та, поносив их с неделю, отдала своей невестке.

Мой любимый цвет — черный

Черити Суитнесс сидит в ванной и там съедает свой завтрак — два яйца вкрутую, пока я пью на кухне кофе и жую сэндвич с ветчиной. Да, так оно и есть, только бога ради не подымайте разговоров про дискриминацию. Если уж кого дискриминируют, так это меня. Черити — моя уборщица, ее прислал отец Дивайн — приходит раз в неделю в мою маленькую трехкомнатную квартиру, когда у меня выходной и я не хожу в свою винную лавку. «Мир вам, — говорит она, — дух святой снизошел на меня, и я вознеслась прямо на небо».

Она маленькая, плоскогрудая, лицо спокойное, все светится, волосы выются барашком, а глаза как у моей мамы перед смертью. В первый раз, года полтора назад, когда Черити Суитнесс пришла ко мне убирать, я сделал ошибку — попросил ее позавтракать на кухне вместе со мной. Настроение у меня было, прямо скажем, неважное: меня только что бросила Орнита, но уж такой я человек — зовут меня Нат Лайм, сорок четыре года, лысею с каждым днем, да и сбавить фунтов пятнадцать не помешало бы, — люблю быть с людьми, когда можно. Ну, сварила Черити свой завтрак — два яйца вкрутую, села за стол, откусила кусочек. А потом вдруг перестала жевать, встала, положила яйца в мисочку и понесла в ванную — с тех пор она там и завтракает. Сколько раз я ей говорил: «Слушайте, Черити Суитнесс, ладно, будь по-вашему, кушайте свой завтрак одни на

кухне, а я поем, когда вы кончите», а она только улыбается и все равно завтракает в ванной. И такая у меня судьба со всеми цветными.

Да, хотя черный цвет по-прежнему мой любимый цвет, но уж так мне с ними не везет, просто сплошь, бывает, конечно, и иначе, но редко, хоть я вполне хорошо веду свое дело — винную лавку в Гарлеме, на Восьмой авеню, между Сто десятой и Сто одиннадцатой улицами. Я это уважительно говорю: почти всю свою жизнь я встречался с неграми обычно по делу, но иногда и просто по-приятельски, и отношения были вполне искренними с обеих сторон. Меня к ним просто тянет. И в эту пору моей жизни я должен был бы иметь хоть двух или трех настоящих друзей из цветных, а если их нет, так в том вина не моя. Если бы они только знали, как у меня к ним лежит сердце, да разве теперь кому-нибудь расскажешь про такое? Сколько раз я пробовал все им выложить, но, видно, язык сердца — мертвый язык, а может, этот язык мало кто понимает. Да, мало кто. А сказать я хочу одно: что для меня лично один только цвет у людей и есть — цвет их крови. И если я люблю черных, так не потому, что они черные, а хотя бы потому, что я сам белый. Но в общем это одно и то же. Если бы я не был белым, я хотел бы быть черным. Но пусть я уж буду белым, раз такая судьба и выбора нет. Во всяком случае, я люблю всякий цвет. Я про цвета понимаю. Кому нужно, чтоб все люди были одинаковые? Может, это вроде таланта. Вот к примеру: Нат Лайм сейчас торгует в винной лавке в Гарлеме, а один раз в Новой Гвинее во время второй мировой войны я сам стрельнул по японцу — он от меня убежал — и, конечно, не попал, так я вдруг подумал:

а может, все-таки у меня есть какой-нибудь талант, хотя, наверно, и талант у меня из таких — придет в голову какая-нибудь мысль — просто блеск! — а потом что из нее выйдет? Ничего. Да, в странном мире мы живем.

Как только Черити Суитнесс начинает есть свой завтрак там, где она его ест, я вспоминаю про Бастера Уильсона, мы с ним вместе росли в Бруклине, в Уильямсбурге. Были там эти бараки, грязные, разваленные, прямо посредине белого квартала — тоже не бог весть какого, — жили там одни разносчики из тех, что возят товар на тележках. И мне казалось, что в негритянских бараках люди рождались и умирали с самого сотворения мира, не иначе. Жил я на соседней улице. Отец у меня был закройщик, но руки у него свело ревматизмом, костяшки громадные, красные, пальцы распухли — какая уж тут кройка, у нас в семье одна мать и работала. Она продавала бумажные мешки на Эллери-стрит с разбитой тележки. С голоду мы не умирали, но курицу тоже не ели — разве только когда мы были больные или курица была больная. Там я в первый раз познакомился со многими неграми, часто лазил по ихним баракам. Я и тогда думал: ну, брат, если такое бывает, так чего на свете не бывает! Понимаете, я там с ранних лет понял, какая она, жизнь. Вот там-то я и встретил Бастера Уильсона. Он все играл камешками, в одиночку. А я сидел у обочины, напротив, и глазел — он бросал один камешек левой, а другой — правой. Какая рука лучше бросала, та выигрывала и камешек поднимала. Игра как игра, меня он ни разу не позвал поиграть с ним. А я хотел с ним подружиться, только он никак не шел мне навстречу, наоборот, все от меня

уходил. И почему я его выбрал себе в приятели — сам не знаю. Может, оттого, что у меня других не было — мы недавно сюда переехали с Манхэттена. А может, мне такие, как он, просто были по душе. Он все делал в одиночку. Худущий такой малец, одежа, видно братнина, висела на нем, как пустой мешок из-под картошки. А сам длинный как жердь: ему тогда было двенадцать, а мне десять. Руки и ноги у него были как спички, горелые спички, всегда на нем свитер, шерстяной, коричневый, один рукав наполовину распустился, а другой висел до кончиков пальцев. Голова у него была узкая, длинная, волосы курчавые, как мех, и прямо посередине белым пробором разделены, таким ровным, словно его по линейке провели: отец у него был парикмахер, только он уже работать парикмахером не мог, слишком много пил. И хоть у меня у самого в те дни ничего не было, я понимал, кому еще хуже, и на эти бараки с цветными мне смотреть было жалко, особенно днем. И все же ходил я туда, когда только мог, жизнь у них на улице так и кипела. Зато вечером там все менялось, знаете, в темноте калеку не отличишь от здорового. Иногда мне боязно было ходить мимо домов, когда там было темно и тихо. Боязно было: а вдруг на меня оттуда кто-то смотрит, а я их не вижу? Мне больше всего нравилось, когда они по вечерам ходили друг к другу в гости и веселились. Музыканты играли на банджо и саксофонах, и стены домишек дрожали от музыки и смеха. В окна я видел молоденьких девушек в нарядных платьях, с лентами в волосах, и у меня перехватывало горло.

Но на этих вечеринках часто затевались драки и ссоры. Особенно скверные дела творились по воскре-

сеньям, после субботних пирушек. Помню, как однажды отец Бастера, такой же тощий и долговязый, как он, никогда не снимавший грязную серую шляпу, гонялся по улице за другим негром с полудюймовой стамеской в руках. Тот, второй, маленький, футов всего пяти, потерял башмак, и, когда они, схватившись, катались по земле, у него сквозь пиджак уже сочилась на тротуар густая красная кровь. Я испугался крови, мне хотелось перелить ее обратно, в человечка, до крови искалеченного стамеской. В другой раз отец Бастера играл в кости большими и прыгучими красными костяшками в тупичке, за двумя домами. Вдруг все шесть человек затеяли там драку, вскочили из тупичка на улицу и стали молотить друг друга кулаками. Соседи вместе с детьми выбежали из домов и смотрели на драку, все перепугались, и никто не посмел вмешаться. Много лет спустя я видел такую же драку подле моей лавки в Гарлеме: огромная толпа смотрела вечером на улице, как двое мужчин резались складными ножами, и пар от их дыхания клубился на морозе. Никто не двинулся, никто не позвал полисмена. И я не позвал. Но тогда я был совсем мальчишкой и помню, как полиция подъехала в закрытой машине и разогнала драку, молотя резиновыми дубинками по кому попало. Было это еще до Ла Гуардии*. Почти всех, кто дрался, избили до потери сознания, только двое или трое убежали. Отец Бастера побежал было к своему дому, но полисмен настиг его на самом пороге и грохнул дубинкой прямо по серой шляпе. Потом всех негров,

* Ла Гуардия — мэр Нью-Йорка, при котором нравы несколько смягчились.

лежавших без чувств, полисмены подняли за руки и за ноги и швырнули в машину. Отец Бастера ударился об задок машины, упал на трех других негров, и у него из носу потекла очень красная кровь. Лично я такие сцены просто не выносил. Мне казалось, что все люди на свете страшные, и я удрал домой, но помню, как Бастер смотрел на драку совершенно равнодушными глазами. Я вытащил пятьдесят центов из кошелька у матери, прибежал назад и спросил Бастера, не хочет ли он пойти со мной в кино. Платить буду я. Он сказал: ладно. Так он заговорил со мной в первый раз.

Потом мы с ним много раз ходили в кино. Но дружбы у нас не получилось. Может, потому, что шло это только с одной стороны — от меня. Это я его приглашал в кино на мои (вернее, моей бедной мамы) денешки, это я ему покупал шоколадки, ломти дыни и даже отдавал свои любимые книжки про Ника Картера — я их выискивал по дешевке в мелочных лавочках, а он их никогда мне не возвращал. Один раз он впустил меня к себе в дом — мы искали спички, чтобы выкурить подобранные на улице окурки, но там стоял такой тяжелый, такой невыносимый дух, что я чуть не умер, пока не выскочил оттуда. Про обстановку, которую я там увидал, я и говорить не стану: все разваливалось на куски. Этой весной и в начале лета мы побывали в кино, наверно, раз пять или шесть на утренних сеансах, но, когда картина кончалась, Бастер уходил домой один.

— Чего же ты меня не подождешь, Бастер? — говорил я. — Нам ведь по дороге.

Но он шел быстро и не слышал меня. А если и слышал, то не отвечал.

И вдруг однажды, совершенно неожиданно для меня, он дал мне в зубы. Я чуть не заплакал, но не от боли. Выплюнув кровь, я спросил:

— Почему ты меня ударил? Что я тебе сделал?

— Потому, что ты жидовская морда. Убирайся ты со своим жидовским кино, со своим жидовским шоколадом знаешь куда, жиденок!

И он убежал.

А я думал: почему я знал, что он не любит кино? А когда я вырос, понял — насильно мил не будешь.

Много лет спустя, в расцвете сил, я повстречался с миссис Орнитой Гаррис. Она стояла одна на автобусной остановке — автобус номер сто одиннадцатый, и я поднял ее зеленую перчатку — она уронила ее на мокрую землю. Был уже конец ноября. Не успел я спросить — это ваша перчатка? — как она выхватила перчатку у меня, закрыла зонтик и села в автобус, я сел за ней.

Мне стало досадно, и я сказал:

— Извиняюсь, конечно, миссис, такого закона нет, чтобы говорить «спасибо», но хоть не смотрите на меня, как на преступника.

— О, простите, — говорит, — но я не люблю, когда белые мужчины пытаются оказать мне любезность.

Я приподнял шляпу — и дело с концом. Через десять минут я вышел из автобуса, но она вышла еще раньше.

Кто мог думать, что я ее снова увижу. Да вот увидел. Через неделю она зашла ко мне в магазин — купить бутылку виски.

— Я бы вам сделал скидку, — говорю, — но я знаю, что вы не любите, когда вам делают одолжение, а я не хочу, чтобы мне дали по носу.

И тут она меня узнала и немножко смутилась.

— Извините, что я в тот день вас не поняла.

— Ну, ошибки со всеми бывают.

И конечно, она не возражала против скидки. А я ей целый доллар спустил.

Она стала приходиться каждые две недели за бутылкой Хейга. Иногда я сам ее обслуживал, иногда мои приказчики — Джимми или Мейсон, — они оба цветные, — и я им тоже велел делать ей скидку. Оба посмотрели на меня, но мне нечего было стыдиться. К весне мы уже стали с ней разговаривать, когда она заходила. Она была тоненькая, темная, но не совсем черная, лет ей, по моим расчетам, было под тридцать, и в ней сочеталось то, что я люблю: ноги стройные, а грудь пышная. Лицо у нее было красивое, глаза большие, щеки круглые, конечно, рот был великоват и нос пошире, чем надо. Иногда ей разговаривать не хотелось — возьмет бутылку, заплатит со скидкой и уйдет. И глаза усталые, и вообще, как мне казалось, счастья у этой женщины нет.

Узнал я, что ее муж когда-то занимался мытьем окон в больших зданиях, но однажды его пояс оборвался, и он упал с пятнадцатого этажа. После похорон она устроилась маникюршей в парикмахерской на Таймс-сквере. Я ей рассказал, что я холостяк, живу с матерью в маленькой квартирке из трех комнат, на Западной Восемьдесят второй улице, недалеко от Бродвея. У моей матери был рак, и Орнита сказала, что ей меня очень жалко.

А однажды июльским вечером мы с ней пошли гулять. До сих пор не понимаю, как это случилось. Куда пойти вечером с негритянкой? Только в Гринич-вил-

ледж*. Там мы отлично пообедали и погуляли по Вашингтонскому парку. Вечер был жаркий. Никто не удивлялся, что мы гуляем вместе, никто не смотрел на нас, как на преступников. А кто смотрел, тот, наверно, видел мой новый летний костюм — я его купил накануне, — видел мою лысинку, которая блестела, когда мы проходили под фонарем, и понимал, что для человека моего склада спутница у меня прехорошенькая. Потом мы зашли в кино, на Западной Восьмой. Мне идти не хотелось, но она сказала, что слышала про эту картину. Вошли мы туда как чужие и вышли чужими. Мне любопытно было, что у нее на уме, но я сказал себе: что бы там ни было, только думает она не об одном белом джентльмене, сами знаете, кого я имею в виду. И весь вечер мы ходили рядом, словно нас цепью сковали. После кино она не разрешила проводить ее до Гарлема. А когда я ее подсаживал в такси, она сказала:

— Стоило ли все это затевать?

Я хотел сказать: стоило ради бифштекса, но вместо того сказал:

— Стоило, чтобы побыть с вами.

— Хоть за это спасибо.

Ну, брат, говорю я себе, когда такси отъехало, теперь ты понял что к чему, так позабудь лучше про нее — и делу конец.

Легко сказать — забудь. В августе мы второй раз пошли развлекаться. В тот вечер на ней было лиловое платье, и я подумал: о черт, вот это краски! Нарисовать бы такую картину — шедевр! Все на нас смотрели, а я получал удовольствие. В этот вечер

* Гринич-Вилледж — район Нью-Йорка, где живет артистическая богема.

она сняла свое лиловое платье в мебелированной комнате — я сообразил нанять комнату заранее. При больной матери я не мог позвать ее к себе домой, а она не хотела звать меня к себе — жила она в семье у брата, на Западной Сто пятнадцатой, недалеко от Леннокс-авеню. Под лиловым платьем на ней была черная комбинация, а когда она и ее сняла, на ней осталось белое белье. А когда она и белое белье сняла, она опять вся стала черная. Должно быть, в эту ночь я в нее влюбился и при этом первый раз в жизни, хотя мне и нравились некоторые хорошие девушки, с которыми я встречался в ранней молодости. Но тут дело было серьезное. Я ведь такой человек — как подумаю про любовь, сразу думаю про женитьбу. Наверно, оттого я и холостой.

На этой же неделе на мою лавку было нападение — два высоких человека, оба негры, с револьверами. Один испугался, когда зазвенела моя касса — я ее открывал, чтобы отдать ему деньги, — и стукнул меня по уху револьвером. Недели две я провалялся в больнице. Вообще-то я был застрахован. Орнита меня навестила. Она сидела на стуле и почти не разговаривала. Наконец я увидел, что ей не по себе, и сказал, что ей лучше пойти домой.

— Нехорошо вышло, — сказала она.

— К чему эти разговоры, ты тут ни при чем.

Вернулся я из больницы, а матери уже нет в живых. Замечательный она была человек. Отец умер, когда мне было тринадцать лет, и она одна всю семью выкормила и вырастила. Неделю я сидел по ней «шивэ»* и вспоминал, как она торговала бумаж-

* Траурный обряд (*евр.*).

ными мешками с тележки. Я вспоминал всю ее жизнь и все, чему она меня учила. «Натан, — говорила она, — если ты когда-нибудь забудешь, что ты еврей, так гой тебе все равно напомнит». Мама, отвечал я мысленно, покойся с миром, на этот счет ты можешь быть спокойна. Но если я сделаю что-нибудь не по-твоему, так вспомни, что на земле все куда труднее, чем там, где ты сейчас.

А когда кончилась неделя траура, я сказал:

— Орнита, давай поженимся. Оба мы люди честные, и если ты меня любишь, как я тебя, так жизнь у нас будет совсем неплохая. Не нравится тебе Нью-Йорк, я все продам, уедем еще куда-нибудь. Может, даже в Сан-Франциско, там нас никто не знает. Я был там целую неделю во время второй мировой войны, так я видал, что там белые и цветные живут вместе.

— Нет, — отвечает мне она, — я к тебе хорошо отношусь, но мне боязно. Муж убил бы меня.

— Но муж твой уже умер.

— Нет, он у меня в памяти живет.

— Что ж, в таком случае я подожду.

— А ты себе представляешь, как это будет, — я хочу сказать, какая жизнь нам предстоит?

— Орнита, — говорю я, — я такой человек, если уж я выбираю себе жизнь, так я ею доволен.

— А дети? Ты хочешь, чтобы дети были полуевреи, серо-бурые, в крапинку?

— Я просто хочу, чтобы были дети.

— Нет, не могу, — говорит.

Не может — так не может. Я видел, что она боится, а тут лучше всего не давить на психику. Иногда при наших встречах она так нервничала, что ей ничто не

могло доставить удовольствие. И все-таки я думал — у меня еще есть шансы. Бывали мы вместе все чаще и чаще. Я отказался от меблированной комнаты, и она приходила ко мне на квартиру — старую мамину кровать я продал и купил новую. По воскресеньям она у меня проводила весь день. И когда она не нервничала, она была очень ласковая, и если я про любовь понимаю правильно, так это и была любовь. Раз за два в неделю мы выходили развлечься — обычно я встречал ее в Таймс-сквере, а потом отправлял домой в такси, и с каждым разом я все больше приводил доводов за брак, а она все меньше — против. Однажды вечером она сказала, что все еще старается убедить себя, но уже почти убедилась. Я сделал инвентаризацию своей лавки, чтобы можно было объявить о распродаже товара.

Орнита знала, что я делаю. Однажды она даже бросила работу, но на следующий день поступила туда обратно. Потом она уезжала на неделю к сестре в Филадельфию — отдохнуть. Вернулась она усталая, но сказала: может быть. Может быть — так может быть, я и подождать могу. Ведь она сказала «может быть» так, что было похоже на «да». Было это зимой, два года назад. Пока она была в Филадельфии, я позвонил своему товарищу по армии, теперь он служил в СПА, и сказал ему, что был бы благодарен, если бы он нас пригласил к себе. Он знал: почему. Жена его сразу сказала: да, конечно. Когда Орнита приехала, мы с ней пошли туда. Жена товарища сделала чудный обед. Время мы провели неплохо, они нас просили приходиться еще. Орнита немного выпила. Она перестала стесняться, все было чудно. Потом мне пришлось провожать ее домой на метро — такси за-

бастовали на двадцать четыре часа. Когда мы доехали до станции Сто шестнадцатая улица, она сказала, чтобы я ехал дальше, а она пройдет два квартала до дому пешком. Но я не хотел, чтобы женщина так поздно ночью шла одна по улице. Она сказала, что никогда с ней ничего не случилось, но раз я решил, так меня не переспоришь. Я сказал, что пойду с ней до ее дверей, а когда она поднимется по лестнице, я вернусь к метро.

По дороге туда, к ее дому, посреди квартала, не доходя Леннокс-авеню, нас остановило трое мужчин — с виду совсем мальчишек. На одном была черная шляпа с полями в полдюйма, на другом — зеленая суконная кепка, на третьем — черная кожаная фуражка. На том, в зеленой шляпе, была короткая куртка, на других — длинные пальто. Мы проходили под фонарем, но тот, в кожаной фуражке, вдруг сверкнул на нас длинным лезвием ножа.

— Ты что тут затеяла с этой белой сволочью? — спросил он Орниту.

— Это дело мое, — сказала она, — прошу вас не вмешиваться.

— Ребята, — сказал я, — все мы братья. Я человек надежный, у меня в этом районе свое торговое дело. Эта молодая особа — мне дорогой друг. Мы никому не мешаем. Пропустите нас, пожалуйста.

— Говорит, как жид квартирный хозяин, — сказал тот, в зеленой кепке. — Пятьдесят долларов в месяц за одну комнату.

— А крысы бесплатно, — добавил второй, в шляпе с широкими полями.

— Верьте слову, я не квартирохозяин. У меня лавка «Натан. Крепкие напитки», между Сто десятой

и Сто одиннадцатой. У меня служат два цветных приказчика: Мейсон и Джимми, спросите у них, они вам скажут, что я им плачу хорошее жалованье, а многим покупателям я и скидку делаю.

— Заткни пасть, жидовская морда, — сказал Кожаная Фуражка и повел ножом взад и вперед у самой моей пиджачной пуговицы.

— Прощайся со своей черной падалью!

— Прошу вас, говорите об этой леди уважительно.

Мне залепили затрещину.

— Какая она тебе леди, — сказал длиннолицый, в широкополой шляпе. — Черная шлюха она, падаль. Ей бы все волосы сбрить, до одного. Хочешь ходить бритая, ты, черная падаль?

— Пожалуйста, оставьте нас с этим джентльменом в покое, или я так закричу, что весь город услышит. Я тут живу, через три дома.

А он ее как двинет. В жизни не слышал такого вопля. Будто ее муж опять упал с пятнадцатого этажа.

Я ударил того, который ударил ее, и не успел опомниться, как очутился в канаве. Я чувствовал боль в голове и подумал — прощай, Нат, теперь тебя заколют как пить дать. Но они только схватили мой бумажник и разбежались в разные стороны.

Орнита проводила меня до метро — она ни за что не хотела, чтобы я ее отвел домой.

— Главное, доберись благополучно до дому.

Вид у нее был ужасный. Лицо совсем серое, и ее крик все еще стоял у меня в ушах. Была скверная ночь, февраль, добирался я до дому час десять минут. Я очень расстроился, что пришлось оставить ее одну, но что я мог сделать?

У нас была назначена встреча в городе на следующий день, но она не пришла, в первый раз за все время так случилось.

Утром я зашел к ней на работу.

— Ради бога, Орнита, пойми, если мы поженимся и уедем отсюда, у нас не будет больше таких неприятностей, как вчера. Нам в этот район и приезжать не придется.

— Нет, придется. У меня тут семья, никуда я отсюда не уеду. Нет, не могу я за тебя выйти замуж. Хватит у меня своих неприятностей.

— А я-то готов был побожиться, что ты меня любишь.

— Может, и люблю, но выйти за тебя замуж не могу.

— Да почему же, черт побери?

— Хватит у меня своих неприятностей.

В тот же вечер я поехал на такси в дом ее брата, повидаться с ней. Брат у нее был тихий человек, с тонкими усиками.

— Уехала она, — сказал он, — надолго уехала погостить к близким родственникам на Юг, велела вам передать, что очень ценит ваше отношение, но думает, что ничего из этого не выйдет.

— Спасибо вам большое, — сказал я.

Не спрашивайте, как я дошел домой.

Однажды на Восьмой авеню, недалеко от моей лавки, я встретил слепого, он шел и белой палкой стучал по тротуару. Я увидел, что нам по дороге, и взял его под руку.

— Чувствую, что вы белый человек, — сказал он.

Толстая цветная женщина с полной кошелкой побежала за нами.

— Не трудитесь, — сказала она, — я знаю, где он живет.

И она оттерла меня плечом с такой силой, что я стукнулся о пожарный кран.

Вот такие дела. Я им сердце готов отдать, а они мне — в зубы.

— Черити Суитнесс, слышите или нет? Выходите из этой проклятой ванной!

Георг Стоянович, парень, живший в нашем квартале, вдруг ни с того ни с сего бросил школу в шестнадцать лет — не хватило терпения, и, хотя ему было стыдно каждый раз, когда он искал работу, отвечать «нет» на вопрос, кончил ли он школу, он все же так туда и не вернулся. Этим летом найти работу было трудно, и он оказался не у дел. Времени у Георга стало много, и он уже подумывал, не пойти ли ему в летние классы, но там обычно учились только младшие ребята. Подумывал он и записаться в вечернюю школу для взрослых, но не нравилось ему, что учителя вечно командуют: делай то, делай это. Он не чувствовал в них уважения к себе. Кончилось тем, что он почти не выходил на улицу и целые дни просиживал в своей комнате. Ему уже было под двадцать, и он поглядывал на соседских девушек, но денег не было, разве что перепадет иногда несколько центов; отец был беден, а сестра Софи, высокая костлявая девушка двадцати трех лет, похожая на Георга, зарабатывала очень мало и все оставляла себе. Мать у них умерла, и Софи приходилось вести все хозяйство.

С самого раннего утра отец Георга вставал и уходил на рыбный рынок, где он работал. Софи уезжала около восьми — ей надо было долго ехать на метро до кафетерия в Бронксе. Георг пил кофе в одиночестве, бродил по дому. Когда эти пять комнатух над лавкой мясника начинали его раздражать, он

затевал уборку — протирал полы мокрой тряпкой, расставлял все по местам. Но по большей части он сидел у себя в комнате. После обеда слушал передачи о футболе. Кроме того, у него было несколько старых выпусков журнала «Весь мир» — он их купил давным-давно и любил перечитывать их или просматривать журналы и газеты, которые приносила Софи, подбиравшая их на столиках в кафетерии. Это были главным образом иллюстрированные журналы про кинозвезд или знаменитых спортсменов и, конечно, «Ньюз» и «Миррор». Софи глотала все, что попадалось под руку, хотя иногда читала и хорошие книжки.

Как-то она спросила Георга, что он делает у себя в комнате по целым дням, и он сказал, что много читает.

— А что ты читаешь, кроме того, что я приношу? Стоящие книги ты тоже читаешь?

— Бывает, — сказал Георг, хотя на самом деле книг он не читал. Пробовал он как-то прочитать книжки, которые лежали у Софи, но они пришлись ему не по вкусу. В последнее время он не выносил выдуманных историй, они ему действовали на нервы. Ему хотелось найти какое-нибудь любимое развлечение — мальчишкой он здорово столярничал, да только где оборудовать себе место? Иногда он выходил днем на прогулку, но чаще всего гулял, когда жара спадала и на улицах становилось прохладнее.

Вечерами, после ужина, Георг уходил из дому и бродил по окрестностям. В эти жаркие дни лавочники с женами выносили стулья на шербатые камни тротуаров и сидели, обмахиваясь газетами, когда Георг проходил мимо них и мимо ребят, кучками толпив-

шихся около угловой кондитерской. Многих он знал всю жизнь, но узнавать друг друга не полагалось. Идти ему, в сущности, было некуда, но обычно к концу прогулки он оказывался вдали от своего квартала и шел по улицам, пока не доходил до темноватого, плохо освещенного скверика, где железная ограда окружала деревья и скамьи, отделяя их от внешнего мира. Он садился на скамью, смотрел на густую листву деревьев, на цветы, растущие за оградой, и думал, как бы получше устроить свою жизнь. Он вспоминал, кем он только не работал после ухода из школы: шофером, рассыльным, рабочим на складе, потом на фабрике, и ни одна работа его не удовлетворяла. Он понимал, что ему хочется когда-нибудь получить хорошую работу, жить на зеленой улице в отдельном домике с крылечком. Хотелось, чтобы деньги были в кармане, чтобы можно было купить себе все что надо, пригласить девушку и не чувствовать себя таким одиноким, особенно в субботние вечера. Хотелось, чтобы люди его уважали, любили. Он часто думал обо всем этом, особенно по вечерам, в одиночестве. К полуночи он вставал со скамьи и возвращался в свой накаленный, каменный квартал.

Как-то во время прогулки Георгу встретился мистер Каттанзара — он возвращался домой с работы очень поздно. Георг подумал было, не пьян ли тот, но потом увидел, что ошибся. Мистер Каттанзара, коренастый лысый человек, работавший в разменной кассе на станции, жил по соседству от Георга, над сапожником. По вечерам, в жаркую погоду, он сидел на ступеньках своего дома и читал «Нью-Йорк таймс» при свете, падавшем из мастерской сапожника. Он прочитывал газету от первой до последней строч-

ки и уходил спать. А пока он читал газету, его жена, полная белолицая женщина, лежа на подоконнике, глазела на улицу, сложив под грудью толстые белые руки.

Бывало, что мистер Каттанзара приходил домой под хмельком, но и пьяный он был очень спокоен. Он никогда не скандалил и только шел по улице, выпрямившись, и очень медленно подымался по лестнице домой. И с виду он был такой, как всегда, и то, что он выпил, сказывалось только в напряженной походке, в молчании, в том, что глаза у него слезились. Георг любил мистера Каттанзару, он всегда помнил, как тот давал ему монетки на лимонное мороженое, когда Георг был совсем сопляком. И вообще мистер Каттанзара был непохож на других соседей. Встречаясь с Георгом на улице, он и вопросы всегда задавал другие и знал все, что писали в газетах. Он их читал внимательно, а его толстая больная жена смотрела сверху из окошка.

— Ты что делаешь нынче летом, Георг? — спросил его мистер Каттанзара. — Все вижу: гуляешь по вечерам.

Георг смутился:

— Я люблю гулять.

— А днем ты что делаешь?

— Сейчас как-то ничего. Жду работы. — И так как ему было стыдно сознаться, что он не работает, Георг прибавил: — Сажу дома, зато читаю много, полностью образование.

Мистер Каттанзара явно заинтересовался. Он вытер потное лицо красным платком.

— А что ты читаешь?

Георг запнулся, потом сказал:

— Мне в библиотеке дали список, вот я и решил прочесть эти книги за лето.

Ему было очень не по себе, даже неприятно это говорить, но уж очень хотелось, чтобы мистер Каттанзара его уважал.

— Сколько же книг в твоём списке?

— Да я не считал. Штук сто, наверно.

Мистер Каттанзара присвистнул сквозь зубы.

— Я решил так, — серьёзно сказал Георг, — прочту их, пополню своё образование. Я не про школьное образование говорю. Понимаете, мне надо узнать другое, не то, чему учат в школах.

Мистер Каттанзара кивнул:

— Так-то оно так, а все же сто книг за одно лето не шутка!

— Может, времени уйдёт и больше.

— А когда прочитаешь хоть сколько-нибудь, может, перекинемся словечком?

— Дайте сначала прочитать, — сказал Георг.

Мистер Каттанзара пошел домой, а Георг пошел дальше. Однако после этого вечера все осталось как было, хоть Георгу и хотелось начать жить по-другому. Он по-прежнему гулял по вечерам, отдыхая в маленьком скверике. Но однажды вечером сапожник из соседнего дома остановил Георга — просто сказать ему, что он славный парень, и он сообразил, что мистер Каттанзара проговорился сапожнику про книги, которые Георг читает. А от сапожника, как видно, это пошло по всей улице, потому что какие-то люди стали смотреть на Георга с доброй улыбкой, хотя с ним никто не заговаривал. Он почувствовал себя как-то лучше в своем квартале, правда не настолько, чтобы захотеть постоянно жить тут. И не то чтобы он с не-

приятно относился к своим соседям, но особой симпатии к ним он тоже никогда не питал. Конечно, во всем была виновата обстановка.

К своему удивлению, Георг увидел, что и отец и Софи знают о его чтении. Отец слишком стеснялся, чтобы заговорить с ним — он вообще был человек неразговорчивый, но Софи стала ласковее с Георгом и в каких-то мелочах старалась показать ему, как она им гордится.

Лето шло, и настроение у Георга становилось все лучше. Каждый день он ради Софи наводил в доме чистоту и с удовольствием слушал передачи про футбол. Софи давала ему доллар в неделю, и хотя этого было мало и приходилось очень жаться, но все же так было куда лучше, чем раздобывать какие-то случайные гроши. Все, что он покупал на эти деньги — главным образом сигареты, иногда кружку пива или билет в кино, — ему доставляло особое удовольствие. Жизнь не такая уж скверная штука, надо только уметь ее ценить. Изредка он покупал дешевые книжки в киоске, но ни разу не удосужился их прочесть, хотя был доволен, что у него в комнате лежат книги. Зато он насквозь прочитывал все журналы и газеты Софи. Но приятнее всего были вечера, потому что, проходя мимо лавочников, сидящих у своих лавок, он чувствовал, что они его уважают. Он шел, выпрямившись, и, хотя ни он им, ни они ему почти ничего не говорили, он видел, с каким одобрением на него смотрят. Бывали вечера, когда у него так подымалось настроение, что он даже не отдыхал в маленьком садике. Он просто разгуливал по улицам, где его знали еще совсем мальчишкой, вечно гонявшим мяч на всех углах. Он проходил мимо соседей, потом возвра-

щался домой, раздевался и ложился спать в отличном настроении.

За эти недели он только раз говорил с мистером Каттанзарой, и хотя тот ни словом не обмолвился насчет книжек и ни о чем не спросил, но от его молчания Георгу стало неловко. Георг даже стал избегать улицу, где жил мистер Каттанзара, но однажды по рассеянности подошел к его дому с другой стороны. Время шло за полночь. Кроме двух-трех прохожих, на улице никого не было, и Георг удивился, увидев, что мистер Каттанзара все еще читает газету при свете уличного фонаря. Георг чуть было не остановился и не заговорил с ним. Он сам не знал, что скажет, хотя и чувствовал, что стоит ему начать, и слова сами придут, но чем больше он об этом думал, тем страшнее ему становилось, и он решил, что лучше не подходить. Он даже хотел было пойти домой другой дорогой, но уже очутился настолько близко от мистера Каттанзары, что тот мог заметить, как от него убегают, и обидеться. Георг незаметно перешел улицу, делая вид, что ему необходимо заглянуть в витрину магазина на другой стороне, перед которой он и остановился. Он боялся, что мистер Каттанзара подымет глаза от газеты и назовет его грязным трусом за то, что он перешел на другую сторону, но тот в одной нижней рубаше сидел и читал свой «Таймс», обливаясь потом, и его лысина блестела под фонарем, а его толстая жена, высунувшись из окошка, лежала на подоконнике, словно читая газету вместе с мужем. Георг боялся, что она его заметит и крикнет мистеру Каттанзаре, но она ни на миг не сводила глаз с мужа.

Георг решил не показываться на глаза мистеру

Каттанзаре, пока не прочтет хоть одну из купленных книжек, но, начав их читать, он обнаружил, что это были главным образом какие-то рассказы. Ему стало неинтересно, и он их так и не кончил. Да и вообще ему наскучило чтение. Даже газеты и журналы Софи лежали непрочитанные. Она заметила, что они накапливаются у него в комнате на стуле, и спросила, почему он их больше не читает, и Георг сказал, что у него много другого чтения. Софи сказала, что она так и думала. Теперь Георг почти весь день слушал радио и часто включал музыку, когда ему надоедал человеческий голос. Дом он держал в чистоте, хотя Софи ему не делала замечаний, даже в те дни, когда он запускал уборку. Она все еще была добра к нему и по-прежнему выдавала лишний доллар, хотя у него все шло не так гладко.

Впрочем, ему и теперь было относительно неплохо. Да и вечерние прогулки подбадривали его, хотя днем настроение бывало скверное.

И вдруг как-то вечером Георг увидел, что ему навстречу по улице идет мистер Каттанзара. Георг чуть было не повернулся и не удрал, но по походке мистера Каттанзары он понял, что тот пьян и, наверно, даже не заметит его. И Георг пошел прямо вперед, пока не поравнялся с мистером Каттанзарой, и, хотя он чувствовал себя настолько взвинченным, что казалось, вот-вот взлетит на воздух, он не удивился, когда мистер Каттанзара прошел мимо него, не говоря ни слова, словно деревянный, Георг с облегчением вздохнул — опасность миновала! — как вдруг услышал свое имя: мистер Каттанзара стоял рядом с ним, и от него несло, как от пивной бочки. Он посмотрел на Георга печальными глазами, и Георгу стало до то-

го неприятно, что он готов был оттолкнуть пьяного и уйти от него.

Но, конечно, так поступить со стариком он не мог, а тут еще мистер Каттанзара вынул монетку из кармана и протянул ему:

— Иди купи себе лимонное мороженое, Георг.

— Времена уже не те, мистер Каттанзара, — сказал Георг. — Я теперь взрослый.

— Ну, какой же ты взрослый, — сказал мистер Каттанзара, и Георг не знал, что ответить.

— А как подвигается твое чтение? — спросил мистер Каттанзара. Он старался держаться прямо, но его здорово качало.

— Да как будто хорошо, — сказал Георг, чувствуя, как лицо заливается краской.

— Что значит «как будто»? — и старик хитро улыбнулся, Георг никогда не видел у него такой улыбки.

— Нет, это я так. Все идет хорошо.

Хотя голова мистера Каттанзары описывала дугу за дугой, глаза смотрели прямо. А глаза у него были маленькие, синие, и становилось больно, если долго в них смотреть.

— Георг, — сказал он, — назови мне хоть одну книгу из списка, которую ты прочел за лето, и я выпью за твое здоровье.

— А мне не надо, чтобы пили за мое здоровье.

— Назови хоть одну, чтобы я мог тебя порасспросить. Почем знать, а вдруг это хорошая книга, может, я сам захочу ее прочитать.

Георг чувствовал, что у него внутри все разрывается, хоть он и не подавал виду.

Не в силах выговорить ни слова, он зажмурил

глаза, но, когда — век спустя — он их открыл, мистер Каттанзара из жалости уже отошел, и в ушах Георга только звенели его последние слова:

— Слышишь, Георг, только не делай того, что сделал я!

Назавтра, к вечеру он побоялся выйти из своей комнаты, и, сколько Софи ни уговаривала его, он даже не открыл ей двери.

— Да что ты там делаешь? — спросила она.

— Ничего.

— Разве ты не читаешь?

— Нет.

Она помолчала, потом спросила:

— А где у тебя книжки, те, что ты читаешь? Ни разу не видала ничего путного у тебя в комнате, одну ерунду.

Он ничего не ответил.

— Не стоишь ты и доллара из моих денег, знаешь, с каким трудом они мне достаются? Чего ради мне спину гнуть? Хватит тебе дома торчать, найди себе работу, лентяй ты, и больше ничего!

Он заперся в комнате и не выходил целую неделю и, только когда никого не было дома, прокрадывался на кухню. Софи и корила его и упрашивала выйти, старик отец даже плакал, но Георг не выходил, хотя жара стояла ужасающая и в комнате была невыносимая духота. Дышать стало невозможно, казалось, с каждым вдохом в легкие втягиваешь огонь.

Как-то вечером, измаявшись от жары, Георг, похожий на собственную тень, выскочил на улицу в час ночи. Он надеялся незаметно прокрасться в садик, но везде на улице сидели люди, заморенные, безучастные, ловя хоть малейший ветерок. Опустив глаза,

Георг виновато обходил их, но вскоре заметил, что все к нему добры по-прежнему. Он догадался, что мистер Каттанзара никому ничего не сказал. Должно быть, наутро, протрезвевши, он совсем забыл о встрече с Георгом. И в Георге снова медленно стала пропасть уверенность в себе.

В ту же ночь его остановил на углу какой-то человек и спросил, правда ли, что он прочитал столько книжек. И Георг подтвердил: да, правда! И тот сказал: замечательно! Такой молодой, а уже столько прочитал.

— Ага, — сказал Георг, и на душе у него стало легче. Он надеялся, что никто больше его про книги спрашивать не будет, и действительно, когда он через несколько дней встретился с мистером Каттанзарой, тот ничего не спросил, хотя Георг сильно подозревал, что именно старик распространил слух, будто Георг уже прочитал все книги.

И вдруг в один осенний вечер Георг выбежал из дому и помчался в библиотеку, где не бывал уже много месяцев. Везде, куда ни глянешь, там стояли книги, и, с трудом подавляя внутреннюю дрожь, он спокойно отсчитал сотню книг, сел к столу и начал читать.

Дева озера

Генри Левин, честолюбивый тридцатилетний человек приятной наружности, ведал в магазине Мэйси книжным отделом и обходил его с белым цветком в петлице. Получив небольшое наследство, он уволился и уехал за границу — искать романтику. В Париже, сам не понимая зачем — разве что ему наскучили те ограничения, которые на него накладывала его фамилия, — словом, в Париже Левин стал называться Генри Р. Фримен, хотя в отеле он зарегистрировался под своей фамилией. Сначала Фримен жил в небольшой гостинице, на узкой, освещенной газовыми фонарями улочке, близ Люксембургского сада. Вначале ему нравилась чужестранность города — все тут было по-иному, все могло случиться. А ему, как он определил для себя, нравились всякие неожиданности. Но ничего особенного с ним не случилось, никого, кто бы ему понравился, он не встретил (в прошлом он часто обманывался в женщинах — обычно они оказывались совсем не такими, как он ожидал), и, так как жара стояла удручающая, а туристы шныряли под ногами, он решил удрать. Он сел в миланский экспресс, но после Дижона сердце у него тревожно забилось. Ему стало настолько не по себе, что он всерьез решил было сойти с поезда, но тут здравый смысл взял верх, и он поехал дальше. Однако до Милана он не доехал. Подъезжая к Стрезде и окинув быстрым изумленным взглядом Лаго-Маджоре, Фримен — большой любитель природы

с раннего детства — снял чемодан с полки и торопливо вышел из поезда. Ему сразу стало легче.

Через час он устроился в пансионе, в вилле, неподалеку от первоклассных отелей, стоявших на набережной. Падрона, разговорчивая женщина, очень заинтересованная в новых постояльцах, пожаловалась ему, что весь июнь и июль пропали из-за неожиданных, не по сезону холодов и сырости. Многие разъехались, американцев почти не было. Фримена это не очень огорчило: он и так был сыт по горло этими кониайлендцами. Он поселился в просторной комнате, с широкой балконной дверью, мягкой постелью и огромной ванной, и, хотя он предпочитал душ, эта перемена его обрадовала. Ему очень нравился балкон, где он любил читать, учить итальянский язык, часто отрываясь, чтобы взглянуть на озеро. Длинное голубое озеро, отливавшее то золотом, то зеленью, терялось за дальними горами. Он полюбил красные крыши городка Палланца на том берегу и особенно четыре прелестных маленьких острова на озере, где теснились дворцы, высокие деревья, сады и повсюду виднелись статуи. Глубокое волнение охватывало Фримена при виде этих островов, на каждом — свой обособленный мирок — часто ли они попадают на пути? — и эти маленькие миры рождали в нем ожидание чего-то — он и сам не знал чего. Фримен все еще надеялся встретить то, чего ему не хватало: мало кому оно достается в жизни, многие об этом и помыслить не смеют, а он мечтал о любви, о приключениях, о свободе. Увы! Эти слова давно уже звучат чуть-чуть смешно. Но бывали часы, когда он при малейшем поводе готов был заплакать, глядя на острова. О, как прекрасны их имена: Изола Белла, деи

Пескатори, Мадре, дель Донго... Да, путешествия расширяют кругозор, думал он. Ну кого может взволновать название «остров Сытный»?

Но оба острова, куда он съездил, его разочаровали. Фримен сошел с пароходика на Изола Белла с толпой запоздалых разноязычных туристов, главным образом немцев, и их сразу окружила толпа продавцов дешевых сувениров. К тому же он обнаружил, что ходить можно только с гидом — отрываться от группы запрещалось — и что в розовом палаццо полно хлама, парк искусственный, прилизанный, гроты сделаны из морских ракушек, а каменные статуи безвкусны до смешного. И хотя на втором острове — Изола деи Пескатори — была какая-то подлинная атмосфера: старые дома сжаты кривыми улочками, грубые сети сушатся навалом под деревьями у рыбачьих лодок, вытасненных на берег, но и тут толпились туристы, шелкавшие фотоаппаратами, и весь городок им прислуживал. Каждый пытался продать какой-нибудь сувенир, который стоил дешевле у Мэйси в нижнем этаже. Фримен вернулся в пансион разочарованный. Острова, такие прекрасные издали, оказались просто бутафорией. Он пожаловался хозяйке, и она посоветовала ему поехать на Изола дель Донго. «Там все естественное, — уговаривала его она, — таких необыкновенных садов вы никогда не видели. И палаццо там историческое, столько гробниц знаменитых людей нашего края, даже есть кардинал, причисленный к лику святых. Император Наполеон там ночевал. А как этот остров любят французы! Их писатели прямо рыдали от этой красоты!»

Но Фримен особого интереса не проявил. «Что я, садов не видал, что ли?» И когда ему не сиделось, он

гулял по переулкам Стрезы, смотрел, как мужчины играют в бочку, избегал лавок и витрин. И, возвращаясь окраинами к озеру, он садился на скамью в маленьком сквере, глядел на медленный закат над темным взгорьем и думал о жизни, полной приключений. Сидел он один, изредка заговаривал с прохожими-итальянцами (почти все они довольно сносно говорили на ломаном английском языке) и был в общем совершенно предоставлен сам себе.

Под воскресенье, однако, улицы оживлялись. Экскурсанты из окрестностей Милана приезжали в переполненных автобусах. Весь день они устраивали пикники, а вечером кто-нибудь, достав из автобуса аккордеон, наигрывал грустные венецианские или веселые неаполитанские песни. А потом молодые итальянцы вставали и, крепко прижимая к себе своих девушек, начинали кружиться по площади, но Фримен с ними не танцевал.

Однажды вечером, на закате, спокойная вода играла такими великолепными красками, что Фримен вышел из оцепенения, нанял лодку и, так как ничего более увлекательного он придумать не мог, стал грести к Изола дель Донго. Он собирался догрести до острова и, сделав полный круг, повернуть обратно. Он прошел две трети пути к острову, но грести становилось все неприятнее, все страшнее: поднялся резкий ветер и волны бились о борт лодки. Правда, ветер был теплый, но все-таки ветер есть ветер, а вода, как известно, мокрая. Греб Фримен неважно, научился он этому уже после двадцати лет, хотя и жил около Центрального парка, а плавал и совсем плохо, вечно глотал воду, никак не хватало дыхания заплыть подальше, — одним словом, сухопутная

крыса. Он решил было вернуться в Стрезу — до острова оставалось с полмили, значит, обратно было мили полторы, но тут же выбралил себя за трусость. В конце концов он ведь нанял лодку на весь час. И он греб дальше, хотя и боялся опасностей. К счастью, волны были не такие уж высокие, и он сообразил, как надо вести лодку, чтоб ее не заливало. И хотя греб он не очень ловко, он, к своему удивлению, увидел, что идет довольно быстро. Ветер скорее помогал, чем мешал, и закат успокоительно медлил, полосуюя красным все небо.

Наконец Фримен подошел к острову. Как Изола Белла, и этот остров подымался террасами, с оградями и садами, полными статуй, к дворцу, стоявшему на высоком берегу. Падрона сказала правду: этот остров был интереснее других, сады более запущены, зелень куда пышнее, птицы пестрей. Туман уже одел остров, но и в сгущающихся сумерках Фримен снова испытал то же благоговение и восторг перед красотой, как при первом взгляде на острова. Снова с грустью вспоминалась жизнь, прожитая впустую, — его жизнь; вспоминалось все, что он упустил, что прошло сквозь пальцы. Какое-то движение в саду, у самого берега, прервало эти мысли. На миг ему показалось, что ожила статуя, но Фримен сразу понял: по эту сторону низкой мраморной ограды стоит женщина и глядит на воду. Лица ее он, разумеется, рассмотреть не мог, но чувствовал, что она молода. Только край ее белого платья трепетал на ветру. Он представил себе, что она ждет любовника, искушение заговорить с ней было очень сильным, но ветер крепчал, и волны сильнее качали лодку. Фримен торопливо повернул лодку и резкими ударами весел

отошел от берега. Ветер бросал ему пену в лицо, злые волны бились о лодку, грести было страшно трудно. Он представил себе, как он тонет, как заливаает лодку, как бедняга Фримен медленно идет ко дну, безуспешно стараясь выплыть. Но он все греб, хотя сердце металлическим диском подступало к горлу, греб не переставая и постепенно, преодолев страх, преодолел и ветер и волны. Озеро совсем почернело, но в небе еще белели отсветы, и, оборачиваясь, чтобы проверить направление, он шел на береговые огоньки Стрезы. Когда он приставал к берегу, пошел сильный дождь, но, причалив лодку, Фримен, довольный интересным приключением, вкусно поужинал в дорогом ресторане.

Его разбудили солнце и ветер, надувавший занавески в комнате. Он встал, побрился, принял ванну и после завтрака пошел к парикмахеру постричься. Потом, надев купальные трусы под брюки, он пробрался на пляж отеля «Эксельсиор». Короткое купанье его очень освежило. Днем он позанимался на балконе итальянским, подремал. В четыре тридцать — решение пришло совсем внезапно — он сел на парходик, совершавший обычный часовой рейс по островам. Пройдя мимо Изола Мадре, парходик пошел к Изола дель Донго. Когда они подходили к острову — с другой стороны, чем Фримен вчера, — он заметил длинноногого мальчишку в трусах, гревшегося на плоту, — он его не знал. Но когда парходик пристал к южной стороне острова, Фримен удивился и расстроился: весь берег был уставлен обычными киосками со всякой туристской дребеденью. Он не рассчитал, что и этот остров можно было обозреть только с гидом и отставать от группы

было запрещено и тут. Надо было заплатить сто лир и идти по пятам за небритым мрачным кривлякой, который, решительно тыкая тростью в небо, объявил на трех языках всем туристам: «Просьба не отставать, не расходиться. Так требует семейство дель Донго — самое знатное в Италии. Иначе нет возможности открывать этот роскошный дворец и знаменитые сады для обозрения публикума и туристов всех стран».

Они торопливо шли цепочкой за гидом по дворцу, по длинным галереям, увешанным коврами и золочеными зеркалами, по огромным покоем, уставленным старинной мебелью, старыми книгами, картинами и статуями, — многое было гораздо выше по качеству, чем то, что Фримен видал на других островах. Показали ему и место, где спал Наполеон, — на кровати. Фримен тайком пощупал покрывало, но не успел отнять руку, как его пронзил всевидящий глаз гида-итальянца, и тот, свирепо ткнув указкой прямо в грудь Фримена, возбужденно заорал: «Баста!» От крика растерялся не только Фримен, но и две англичанки с зонтиками. Фримен чувствовал себя неловко, пока группу — человек двадцать — не вывели в сад. Фримен ахнул — отсюда с самой высокой точки острова — было видно все золотисто-голубое озеро. Пышная зелень острова была вызывающе роскошной. Они шли под апельсиновыми и лимонными деревьями (Фримен никогда не знал, что лимон дает такой аромат), под магнолиями и олеандрами — гид выкрикивал названия. И везде заросли цветов, огромные камелии, рододендроны, жасмин, розы бесчисленных сортов и оттенков, — все тонуло в их одуряющем благоухании. У Фримена закружилась голо-

ва, в глазах потемнело, его ошеломил этот натиск на все его пять чувств. Но в то же время — где-то в самой глубине, — он ощутил, как все внутри болезненно сжалось, напоминая, вернее предупреждая его: не забывай, как ты обездолен. Трудно было понять, откуда взялось это чувство: обычно он был о себе довольно высокого мнения. Пока смешной гид, шествуя перед группой, тыкал указкой в кедры, эвкалипты и перечные деревья, бывший продавец от Мэйси, захваченный новыми впечатлениями, чуть не задыхаясь от восхищения, отстал от группы, делая вид, что рассматривает стручки на перечном дереве. И когда гид заторопился дальше, Фримен, сам не понимая, что он задумал, спрятался за перечным деревом, пробежал по дорожке за высоким лавровым боскетом вниз по ступенькам и, перескочив невысокую мраморную ограду, быстрым шагом пошел по рощице, чего-то ожидая, чего-то ища, а чего, одному богу известно, подумал он.

Фримену казалось, что он идет к тому саду у озера, где вчера вечером видел девушку в белом платье, но, проплутав по аллеям, он вышел на береговую полосу, небольшую отмель, усеянную камушками. Футах в ста был привязан плот, на нем никого не было. Устав от впечатлений, немного погрузнев, Фримен присел под деревом отдохнуть. Но, подняв глаза, он увидел, что из воды по ступенькам выбегает девушка в белом купальном костюме. Фримен смотрел во все глаза, как она взметнулась на берег, сверкая на солнце мокрым телом. Заметив Фримена, она, быстро наклонившись, схватила полотенце, брошенное на одеяло, накинула его на плечи и застенчиво скрестила концы над высокой грудью. Мокрые черные

волосы рассыпались по плечам. Она удивленно смотрела на Фримена. Он встал, мысленно пытаясь подобрать слова извинения. Туман, стоявший у него в глазах, рассеялся. Фримен побледнел, девушка вспыхнула румянцем.

Конечно, Фримен был всего-навсего молодым нью-йоркцем, уроженцем окраины. И под беззастенчивым — хотя это длилось всего с полминуты — взглядом девушки он почувствовал и свое незнатное происхождение и многие другие недостатки. Но он также был уверен, что недурен собой, пожалуй даже красив. И хотя на макушке у него намечалась крохотная лысинка — не больше медной монетки, — волосы у него были пышные, живые, в ясных серых глазах ни тени зависти, линия носа четко очерчена, губы добрые. Он был хорошо сложен — стройные ноги, руки, плоские послушные мышцы живота. Правда, ростом он похвалиться не мог, но ему это как-то не мешало. Одна из его приятельниц даже сказала, что иногда он ей кажется высоким. Это его утешало в те минуты, когда он казался себе слишком маленького роста. Но хотя Фримен и знал, что производит неплохое впечатление, сейчас ему стало страшно, отчасти потому, что именно этой встречи он жаждал всю жизнь, а отчасти потому, что столько препятствий, черт их дери, стоит между незнакомыми людьми.

Но ее, очевидно, их встреча не испугала, наоборот, как ни удивительно, она была ей рада, видно, Фримен ее сразу заинтересовал. Конечно, все преимущественно были на ее стороне — она, так сказать, принимала незваного гостя. И с какой грацией она его встречала! Природа не обделила ее красотой — черт, какие царственно крутые бедра! — да и вся

она была воплощением грации. В смуглом, резком итальянском лице была та особая красота, в которой запечатлелась история, красота целого народа, целой цивилизации. В огромных карих глазах под тонкими темными бровями сиял мягкий свет, губы словно вырезаны из лепестков красного цветка, может быть, только нос — чуть длиннее и тоньше чем надо — нарушал гармонию.

Овальное личико, закруглявшееся к небольшому подбородку, было нежно озарено очарованием молодости. Ей было года двадцать три — двадцать четыре, не больше. И когда Фримен немного успокоился, он увидел, что в ее глазах кроется какой-то голод, вернее какая-то тень голода, а может быть, просто грусть. И он почувствовал, что именно поэтому или по другой неизвестной причине она искренне ему обрадовалась. Неужто, о господи, он, наконец, встретил свою судьбу!

— *Si è perduto?* * — спросила она, улыбаясь и еще крепче кутаясь в полотенце.

Фримен понял и ответил по-английски:

— Нет, я сам сюда пришел. Можно сказать, нарочно.

Он хотел было спросить, не видела ли она его прошлым вечером, когда он подъехал в лодке, но не решился.

— Вы американец? — спросила она, и, несмотря на итальянский акцент, английские слова звучали чисто и приятно.

— Да, вы угадали.

* — Вы заблудились? (*итал.*).

Девушка смотрела на него внимательно, потом нерешительно спросила:

— А может быть, вы еврей?

Фримен чуть не застонал. Хотя его втайне задел этот вопрос, но он его ждал. Впрочем, он мог сойти и за нееврея, и часто сходил. И, не дрогнув, он ответил, что — нет, он не еврей, добавив при этом, что он лично ничего против евреев не имеет.

— Я просто подумала... Вы, американцы, такие разные, — объяснила она уклончиво.

— Понимаю, — сказал он, — но вы не беспокойтесь! — И, приподняв шляпу, представился: — Генри Р. Фримен, путешествую по разным странам.

— А меня, — сказала она, помолчав, — меня зовут Изабелла дель Донго.

«Сошло!» — подумал Фримен.

— Счастлив познакомиться, — сказал он с поклоном.

Она протянула руку, мило улыбаясь. Он хотел было поцеловать эту руку, как вдруг карикатурный гид появился на одной из верхних террас. Он изумленно посмотрел на них, испустил дикий вопль и побежал вниз по ступенькам, размахивая тростью, как рапирой.

— Нарушитель! — заорал он на Фримена.

Девушка что-то сказала, пытаясь успокоить его, но гид был слишком возмущен и ничего не слушал. Он схватил Фримена за руку и потащил его по ступенькам. И хотя Фримен, из вежливости, почти не сопротивлялся, гид стукнул его по задку, на что Фримен даже не обиделся.

Хотя его отъезд с острова был, мягко выражаясь, не совсем ловким (после неудачного вмешательства

девушка исчезла), Фримен мечтал о триумфальном возвращении. Главное было то, что ей, такой красоте, он понравился, она его встретила милостиво. Почему это случилось, он сказать не мог, но он знал, он видел по ее глазам — это факт! И, удивляясь по старой привычке — как он мог ей понравиться, если и вправду понравился — Фримен придумывал множество объяснений, между прочим, как и почему женщину вдруг тянет к мужчине, и решил: причина в том, что он непохож на других, он смелый. Да, он посмел удрать от гида, он нарочно дождался на берегу, когда она выйдет из воды. И она тоже была непохожа на других — разумеется, это ее и привлекло к нему. И не только своей красотой, своим происхождением она отличалась от всех — все прошлое ее семьи было другое, чем у всех. (Он с жадностью перечитал историю семейства дель Донго во всех местных справочниках). Он чувствовал, как в ней кипит кровь ее предков, начиная от древних рыцарей и так далее; конечно, его происхождение было совсем другим, но ведь мужчины легче приспосабливаются, и он бесстрашно представлял себе смелое сочетание имен: Изабелла и Генри Фримен. Надежда на такую встречу — вот главное, из-за чего он поехал за границу. И он чувствовал, что европейские женщины смогут лучше оценить, вернее, лучше понять его. Конечно, у Фримена возникали и тяжелые сомнения — их жизни были настолько несхожи, — и он думал: какие серьезные испытания ему еще придется пережить, если он захочет ее завоевать, а это он решил твердо. Неизвестно, как отнесется ее семья, да и мало ли что еще. И снова его стало беспокоить, почему она спросила, не еврей ли он. Почему

этот вопрос слетел с ее прелестных губ, даже прежде чем они как следует познакомились? Никогда в жизни его об этом не спрашивали, особенно девушки при таких же, скажем, обстоятельствах. Ведь они только что увидели друг друга. Он был в недоумении — ведь он совершенно не походил на еврея. Но потом он сообразил — может быть, этот вопрос что-то вроде «пробы», когда человек ей нравился, она сразу пыталась определить — насколько он «подходящий претендент». Может быть, ей в прошлом не посчастливилось в знакомстве с каким-то евреем? Не очень похоже, но все-таки возможно — их теперь всюду много. В конце концов Фримен объяснил себе, что «и так бывает» — вдруг беспричинно и внезапно ей взбрела в голову странная мысль. И оттого что мысль была странная, его короткий ответ показался ему вполне достаточным. Чего возиться с древней историей? А сейчас именно эти препятствия только разжигали его приключенческий пыл.

Им владело почти невыносимое волнение: он должен увидеть ее снова, поскорее, стать ее другом — и это будет только началом, но как же начать? Он подумал, не позвонить ли ей по телефону, если только в палатку, где спал Наполеон, есть телефоны. Но если ответит горничная или еще кто-нибудь, он попадет в ужасно неловкое положение — как он о себе скажет? Он решил, что лучше послать ей записку. И Фримен написал несколько строк на специально купленной отличной бумаге, спрашивая, может ли он иметь удовольствие увидеть ее снова в обстановке, благоприятствующей спокойной беседе. Он предложил ей прокатиться в экипаже по одному из островов и подписался, конечно, не Левин, а Фри-

мен. Потом он предупредил хозяйку, что письма на это имя надо передавать ему. И вообще он просит называть его отныне мистер Фримен. Объяснять он ничего не стал, хотя она удивленно подняла брови. Но после того как он для укрепления дружбы дал ей тысячу лир, на ее лице засияла безмятежная улыбка. Он отправил письмо — и время легло на него тяжелым грузом — как прожить те часы, пока не придет ответ? В тот же вечер он в нетерпении нанял лодку и стал грести к Изола дель Донго.

Вода была гладкая, как стекло, когда он причалил, но дворец стоял темный, даже мрачный — ни в одном окне света не было, весь остров казался мертвым. Он никого не увидел, хотя в воображении видел ее повсюду. Фримен хотел было остановиться у пристани и поискать ее, но затея показалась ему безумной. Когда он подгробал к Стрезе, его окликнул речной патруль и попросил предъявить паспорт. Офицер посоветовал ему не плавать по озеру после темноты: могут случиться неприятности. На следующее утро, в темных очках, в соломенной панаме, купленной специально для этого случая, и в свежем полотняном костюме, он сел на пароходик и вскоре высадился на острове своей мечты вместе с обычной группой туристов. Но фанатик гид сразу высмотрел Фримена и, размахивая тростью, как учитель линейкой, велел ему тут же мирно отбыть. Боясь скандала — ведь девушка, наверно, все слышит, — Фримен с очень неприятным чувством уехал с острова. Вечером хозяйка, разоткровенничавшись, предупредила его — не связываться ни с кем на Изола дель Донго. У этого семейства темное прошлое, оно известно своим вероломством и обманами.

В воскресенье Фримена — он был в прескверном настроении после дневного сна — разбудил стук в дверь. Длинноногий мальчишка, в коротких штанах и рваной рубаше, вручил ему конверт с незнакомым гербом. Задышавшись от волнения, Фримен разорвал конверт и вынул листок тонкой голубоватой бумаги с несколькими строками, написанными паутинным почерком:

«Можете приехать сегодня вечером, к шести. Эрнесто вас проводит. И. дель Д.».

Пять уже пробило. Фримен был ошеломлен, от счастья у него закружилась голова.

— Tu sei Ernesto? * — спросил он мальчика.

Мальчику было лет одиннадцать-двенадцать. Не спуская с Фримена больших любопытных глаз, он покачал головой.

— No, signore, sono Giacobbe **.

— Dov'è Ernesto? ***

Мальчик неопределенно показал на окно, и Фримен понял, что кто-то, неизвестно кто, ждет его на берегу озера.

Фримен в одну минуту переоделся в ванной и вышел уже в соломенной шляпе и полотняном костюме.

— Ну, пошли!

Он сбегал по лестнице, за ним топал мальчик. К великому удивлению Фримена, «Эрнесто», ждавший у причала, оказался тем самым вспыльчивым

* Ты Эрнесто? (*итал.*).

** Нет, синьор, Джакоббе (*итал.*).

*** А где Эрнесто? (*итал.*).

гидом с проклятой тросточкой: видно, он был мажордомом в палаццо, старым слугой семьи.

Судя по выражению его лица, теперешняя роль гида в другом качестве была ему сильно не по душе. Но, видно, он получил твердые указания, и держался хоть и высокомерно, но вежливо. Фримен поздоровался с ним вполне любезно. Гид сидел не в шикарной моторке, как ожидал Фримен, а на корме большой, выдавшей вида лодки — помеси рыбацкой шлюпки и спасательного суденышка. Фримен вслед за мальцом перелез через свободное место на задней скамье, но, так как Джакоббе сел на весла, он нерешительно примостился рядом с Эрнесто. Какой-то лодочник на берегу столкнул лодку, и мальчик стал грести. Большая лодка казалась неповоротливой, но Джакоббе, ловко орудуя длинными веслами, повел ее совсем легко. Он быстро отгрел от причала и пошел на остров, где ждала Изабелла.

Хотя Фримен был рад и счастлив, что они отплыли и наслаждался широким простором озера, ему было неприятно сидеть рядом с Эрнесто, от которого несло свежим чесноком. Болтливый гид оказался молчаливым спутником. Потухшая сигарета висела у него на губе, и время от времени он рассеянно тыкал палкой в дощатое дно лодки. Если в ней еще нет течи, он обязательно пробьет дыру, думал Фримен. Один раз тот снял свою черную фетровую шляпу, чтобы вытереть лоб платком, и Фримен с удивлением заметил, что он совсем лыс и выглядит удивительно дряхлым.

У Фримена было искушение сказать старику что-нибудь приятное (кто помянет старые обиды в таком чудном плаванье?), но он понятия не имел, с че-

го начать. Что он будет делать, если тот сердито буркнет в ответ? После долгого молчания Фримен, уже чувствуя некоторое раздражение, спросил:

— Может быть, мне сесть на весла, дать мальчику отдохнуть?

— Как желаете, — Эрнесто пожал плечами.

Фримен обменялся местами с мальчиком и тут же об этом пожалел. Весла оказались непомерно тяжелыми, греб он скверно, левое весло заходило в воду глубже, чем правое, и лодка сбивалась с курса. Похоже было, что он плывет на катафалке, и, неловко шлепая веслами, он видел со смущением, как мальчик и Эрнесто, похожие темными глазами и жадными клювами на странных птиц, не мигая, уставились на него. Он мысленно посылал их подальше от этого прекрасного острова и в отчаянии греб все сильнее. Хотя ладони его покрылись волдырями, ценой решительных усилий он стал грести ритмичнее, и лодка пошла ровней. Фримен победоносно взглянул на спутников, но те уже не следили за ним — мальчик вел соломинку по воде, а гид сонно смотрел вдаль.

Немного погодя, явно изучив Фримена и решив, что он в общем и целом совсем не злодей, Эрнесто заговорил довольно дружелюбно.

— Все говорят — Америка богатая? — заметил он.

— Еще бы, — проворчал Фримен.

— А сами вы тоже из таких? — Гид неловко усмехнулся, не вынимая сигарету изо рта.

— Я не нуждаюсь, — сказал Фримен и честно добавил: — Но мне все же приходится служить ради заработка.

— Молодым там хорошо живется, нет? Говорят, еды вволю, а для женщин в доме всякие машины придуманы, много машин.

— Да, много, — подтвердил Фримен.

Это он неспроста. Видно, ему велено расспросить обо всем. И Фримен стал расписывать гиду все прелести американского образа жизни, хорошей жизни. Неизвестно еще, как к этому отнесутся итальянские аристократы. И все же надо надеяться на лучшее. Никогда не знаешь, чего нужно другим.

Эрнесто следил, как Фримен гребет, явно стараясь запомнить все, что тот ему рассказал.

— А у вас какая служба? — спросил он наконец.

Фримен задумался, как бы это выразить, и, наконец сказал:

— Я занимаюсь, так сказать, вопросами обслуживания.

Эрнесто выплюнул окурок:

— Извините за вопрос, а сколько зарабатывают в вашем деле?

Сосчитав в уме, Фримен ответил:

— Я лично зарабатываю около ста долларов в неделю. По-вашему, выходит около четверти миллиона лир в месяц.

Эрнесто повторил сумму, придерживая шляпу на ветру. Мальчик в удивлении широко раскрыл глаза, Фримен попытался скрыть удовлетворенную усмешку.

— А ваш отец? — И гид замолчал, пристально взглядываясь в лицо Фримена.

— Что — мой отец? — сказал Фримен, настораживаясь.

— Чем он занимается?

— Занимался страховым делом. Он умер.

Эрнесто почтительно снял шляпу, и солнце залило его лысину. Они помолчали, пока не подошли к острову, потом Фримен, не упуская случая задобрить старика, если удастся, спросил его ластивым тоном, где он выучился так хорошо говорить по-английски.

— Везде, — сказал Эрнесто с усталой усмешкой, и Фримен, чуткий ко всяким изменениям в направлении ветра, понял, что если он и не приобрел закадычного друга, то по крайней мере умягчил врага, а это в данной обстановке тоже неплохо.

Причалив, они дождались, пока мальчик привязывал лодку. Фримен спросил Эрнесто, где же синьорина. Видно было, что гиду все это надоело, он ткнул своей тростью куда-то наверх, обводя широким жестом всю вершину прекрасного острова. Фримен надеялся, что никто его провожать не станет, не мешает его встрече с девушкой, и, когда он, оглядев верхние террасы и сады и не найдя Изабеллу, посмотрел вниз, ни мальчика, ни старика уже рядом не было. По этой части итальянцы — молодцы, подумал Фримен.

Мысленно предупреждая себя, что надо быть как можно осторожнее и тактичнее, Фримен быстро взбежал по лестницам. На каждой террасе он оглядывался, потом торопливо взбежал на следующую, уже держа шляпу в руках. Он увидел ее, пройдя заросли цветов, именно там, где и думал найти, — одну, в саду за палатцо. Она сидела на старой каменной скамье, у маленького мраморного фонтана, и струи воды из уст насмешливых эльфов весело переливались в мягком солнечном свете.

При виде этого прелестного существа, словно выточенного смелым резцом и такого очаровательного

своей мягкой женственностью, задумчивостью темных глаз, свободным узлом темных волос на тонкой шее, Фримена пронзила боль до кончиков покрытых волдырями пальцев. На ней была полотняная блуза красного цвета, мягко облегавшая грудь, и длинная узкая черная юбка, на тонких ступнях загорелых ног — сандалии. Когда Фримен подходил сдержанным шагом, боясь броситься к ней, она отвела с лица прядь волос, и этот жест был полон такого очарования, что ему стало грустно оттого, что в самом этом движении крылась его неповторимость. И хотя Фримен в этот изумительный воскресный вечер ощущал непреложную реальность своего «я», он после ее мимолетного жеста невольно подумал, что и она может стать такой же неуловимой, нереальной и весь остров может исчезнуть, да и его самого, несмотря на все прожитые дни, хорошие, плохие или безликие, к которым так часто он возвращался в мыслях, и его тоже может не стать сегодня или завтра. Он подошел к ней, чувствуя в глубине души, как все преходяще, но это чувство сразу вытеснила чистейшая радость, когда она встала и протянула ему руку.

— Добро пожаловать, — сказала Изабелла, краснея.

Она, казалось, была ему рада и вместе с тем посвоему взволнована их встречей; а может, это была только иллюзия? Ему хотелось тут же обнять ее, но не хватило смелости. И хотя ему казалось, что он уже всего достиг и они уже признались в любви друг другу, но Фримен чувствовал в ней какую-то неловкость и, стараясь отогнать эту мысль, с горечью понимал, что они еще далеки от любви или в лучшем случае еще пробиваются к ней сквозь завесу тайны.

Но ведь так всегда бывает, думал Фримен, который часто влюблялся. Пока люди не станут любовниками, они остаются чужими.

Он начал разговор официально:

— Благодарю вас за ваше милое письмо. Я так стремился вас увидеть.

Она обернулась к палаццо:

— Мои родные ушли. Они уехали на свадьбу, на другой остров. Можно мне показать вам наш дворец?

Ее слова и обрадовали и огорчили его. Он сам в эту минуту не испытывал желания встретиться с ее семейством. Но если бы его представили, это был бы хороший знак.

Они прошли по саду, потом Изабелла взяла Фримена за руку и провела сквозь тяжелые двери в огромный дворец стиля рококо.

— Что бы вам хотелось осмотреть?

И хотя он уже поверхностно осматривал два этажа, ему захотелось, чтобы она сама — в такой близости — провела его по дворцу.

— Все, что вам будет угодно.

Сначала она показала ему комнату, где ночевал Наполеон.

— По правде говоря, тут спал не сам Наполеон, — объяснила Изабелла. — Он ночевал на Изола Белла. Возможно, что здесь был его брат Жозеф, а может быть, Полина с каким-нибудь возлюбленным. Никто точно не знает.

— Значит, все это обман?

— Мы часто притворствуем, — сказала она. — Страна у нас бедная.

Они вошли в главную картинную галерею. Изабелла показывала картины Тициана, Тинторетто, Бел-

лини, и Фримен только ахал, но у выхода она обернулась к нему со смущенной улыбкой и сказала, что большая часть картин в галерее — копии.

— Копии? — Фримен был шокирован.

— Да, хотя тут есть неплохие оригиналы ломбардской школы.

— А все Тицианы — копии?

— Все.

Это его немного расстроило.

— А как скульптуры? Тоже копии?

— По большей части, да.

Он помрачнел.

— Что с вами?

— Как это я не смог отличить копии от оригиналов?

— Что вы, многие копии исключительно хороши, — сказала Изабелла. — Нужно быть экспертом, чтобы их отличить.

— Да, многому мне еще надо учиться, — сказал Фримен.

Но тут она взяла его руку, и ему стало легче.

— Зато гобелены, — сказала она, проводя его по длинной галерее, увешанной вышитыми коврами, темневшими в заходящем солнце, — зато они все настоящие и очень ценные.

Однако на Фримена они впечатления не произвели: длинные, от пола до потолка, синевато-зеленые ткани с пасторальными сценами — олени, единороги и тигры резвились в лесу, впрочем, на одном гобелене тигр убивал единорога. Изабелла быстро прошла мимо них и ввела Фримена в комнату, где он раньше не был: тут на гобеленах изображались сцены из дантова ада. Они остановились перед изображением

извивающегося тела прокаженного, покрытого страшными язвами, он рвал их ногтями, но зуд вовеки не прекращался.

— А за что ему такое наказание? — спросил Фримен.

— Он солгал, что умеет летать.

— И за это человек попадает в ад?

Она ничего не ответила. Галерея стала темнеть, мрачнеть, и они вышли.

В саду, у самого озера, где стоял на якоре плот, они смотрели, как вода меняла цвет. Изабелла мало говорила о себе — она часто задумывалась, а Фримен, поглощенный мыслями о будущих осложнениях, тоже больше молчал, хотя сердце его было переполнено. Когда стало совсем темно и взошла луна, Изабелла сказала, что она сейчас придет, и скрылась за кустами. И вдруг перед Фрименом мелькнуло неожиданное видение — она, совсем нагая, но не успел он взглянуть на ее ослепительную спину, как она уже плыла по озеру к плоту. Перепуганно соображая, доплывет ли он или утонет, Фримен, желая увидеть ее поближе (она сидела на плоту, подставляя грудь лунному свету), быстро разделся за кустом, где лежали ее воздушные вещички, и сошел по каменным ступенькам в теплую воду. Он плыл неловкими бросками, с ненавистью думая, каким он предстанет перед ней — слегка покалеченный Аполлон Бельведерский. А кроме того, ему мерещилось, что он сейчас утонет на двенадцатифутовой глубине. А вдруг ей придется спасать его? Но без риска ничего не добьешься, он продолжал плыть и доплыл до плота, не задохнувшись, — как всегда, он слишком беспокоился заранее, без особых на то причин.

Но, вылезая на плот, он, к своему огорчению, увидел, что Изабелла уже уплыла. Вот она мелькнула на берегу и скрылась за кустами. Полный мрачных мыслей, Фримен немного отдохнул, потом, чихнув два раза и решив, что уже схватил ужасный насморк, он прыгнул в воду и поплыл к берегу. Изабелла, уже одетая, ждала его с полотенцем. Она бросила полотенце Фримену, когда он подымался по ступенькам, и ушла, пока он вытирался и одевался. Когда он вышел из-за кустов в своем элегантном костюме, она предложила ему салями, сыр, хлеб и красное вино на большом подносе, поданном из кухни. Фримен, рассерженный глупой гонкой, перестал злиться, выпив вина и чувствуя свежесть после купанья. Москиты еще не безобразничали, и он успел сказать ей, как он ее любит. Изабелла нежно поцеловала его, но тут появились Эрнесто и Джакоббе и отвезли его на лодке в Стрезу.

В понедельник утром Фримен не знал, куда ему деваться. Он проснулся, обуреваемый воспоминаниями страшной силы, то приятными, то тягостными, они грызли его, он грыз их. Он чувствовал, что надо было лучше использовать каждую минуту свидания, он не сказал ей и половины того, что хотел, — о себе, о том, как хорошо они смогут жить вместе. И он, жалея, что не мог быстрее доплыть к плоту, с волнением думал, что могло бы произойти, попади он туда вместе с ней. Но воспоминания остаются воспоминаниями — их можно только зачеркнуть, но изменить нельзя. С другой стороны, он был доволен и удивлен тем, чего он достиг: вечер с ней наедине, ее прекрасное тело, доверчиво и просто открывшееся ему, ее поцелуй, невысказанный обет любви. Желая-

ние жгло его до боли. Весь день он бесцельно бродил, мечтал о ней, глядя на блистающие в матовом озере острова. К ночи он совсем изнемог и лег спать, подавленный всем, что пришлось пережить.

Все же странно, думал он, лежа в постели в ожидании сна, что из всех назойливых забот его больше всего мучила одна. Если Изабелла полюбила его или вскоре полюбит, он это чувствовал, то силой любви они постепенно преодолеют все трудности. А он предвидел, что трудностей будет немало, и, должно быть, главным образом из-за ее семьи. Но, с другой стороны, многие итальянцы, включая и аристократов (иначе зачем бы они послали Эрнесто вынюхивать насчет тамошних условий?), считали жизнь в США отличной жизнью для своих дочек на выданье. При столь благоприятных обстоятельствах все как-нибудь наладится, особенно если Изабелла, девушка вполне независимая, с интересом поглядывает на Звездный берег за океаном. Семья не помешает ему умыкнуть ее. Нет, больше всего его беспокоило, что он ей солгал, будто он не еврей. Конечно, он мог сознаться, сказать, что она познакомилась вовсе не с Фрименом, любителем приключений, а с Левиным. Но этим можно все погубить: ясно, что с евреями она дела иметь не желает, иначе зачем бы она в первую же минуту задала этот коварный вопрос? А может быть, ему не надо ни в чем признаваться, пусть она сама, прожив подольше в США, поймет, что там быть евреем вовсе не преступление, и можно смело сказать: там прошлое не играет никакой роли. Но могли возникнуть неожиданные осложнения, а вдруг ее расстроит это открытие? Он часто подумывал и о другом выходе: переменить фамилию (сначала он хотел назваться

Ле Вэн, но потом решил, что Фримен лучше) и забыть, что он был рожден евреем. Никого он этим не обидит, и его никто не осудит: семьи у него не было, он был единственным сыном своих покойных родителей. Какие-то родственники жили в городе Толедо, в штате Огайо, но они оттуда не придут и никогда о нем не вспомнят. А когда он с Изабеллой вернется в Америку, они могут жить не в Нью-Йорке, а где-нибудь в Сан-Франциско — там его никто не знал и никогда «про то» не узнает. Чтобы все это уладить и еще кое-что подготовить, он охотно раз или два съездит домой. Что же касается свадьбы, то им придется обвенчаться здесь, иначе он не сможет увезти ее в Америку, и венчаться надо будет в церкви, — он и на это был готов, лишь бы скорей. Все так делают. Так он решил, хотя и от этого решения ему легче не стало: не в том было дело, что он отрекся от своего еврейского происхождения — да и что оно ему дало, кроме неприятностей, чувства неполноценности, воспоминания о всяких неудачах? — нет, его мучило, что он солгал своей любимой. Любовь с первого взгляда — и тут же ложь. Ложь разъедала его сердце, как язва. Впрочем, что поделаешь, если уж так случилось.

Он проснулся наутро, и снова его одолели сомнения: что будет с его планами, есть ли возможность их выполнить? Когда же он снова увидит Изабеллу, уж не говоря о том, когда же они поженятся? («Когда?» — шепнул он ей, садясь в лодку, и она неопределенно ответила: «Скоро» Но «скоро» могло тянуться безжалостно и бесконечно.) Почта не принесла ничего, и Фримен впал в отчаяние. Неужто, спрашивал он себя, это безнадежная фантазия соб-

лазила его каким-то правдоподобием? Не выдумал ли он несуществующее чувство — ее чувство к нему, не придумал ли возможность какого-то совместного будущего? Он отчаянно искал хоть какой-нибудь зацепки, чтобы не впасть в глубочайшую меланхолию, как вдруг раздался стук в дверь. Падрона, подумал он, потому что хозяйка часто забегала по пустякам, но, к его несказанной радости, появился купидон в коротких штанах — Джакоббе со знакомым конвертом в руках. Изабелла писала, что будет его ждать на площади, откуда трамваи отходят на Монте-Моттароне, — там с вершины открывается прекрасный вид на озера и горы. Хочет ли он поехать с ней?

И хотя утренняя тревога несколько улеглась, Фримен уже с часу дня стоял на площади и беспрерывно курил. Солнце взошло для него, когда она появилась, но, когда она подходила, он заметил, что она отводит от него взгляд (вдали отчаливал на лодке Джакоббе) и лицо у нее безразличное, равнодушное. Сначала он огорчился, но ведь в конце концов она сама ему написала; и он подумал, с каким трудом она, должно быть, сбежала из дому, наверно, у нее под ногами земля горела. Надо будет как-нибудь, мимоходом, ввернуть слово «умыкнуть» — посмотрим, как она отнесется к этой мысли. Но Изабелла сразу стряхнула всю озабоченность и, улыбнувшись, поздоровалась с ним. Он надеялся, что она протянет ему губы, но она вежливо подала пальчики. Он поцеловал их на виду у всех (пусть шпионы доносят ее папаше), и она робко отняла руку. На ней была та же блузка и юбка, что и в воскресенье, — он немного удивился, но отдал ей должное — видно, она умеет

не считается с глупыми предрассудками. Они сели в трамвай с десятком туристов и устроились вдвоем на передней скамеечке. За то, что он изловчился занять отдельное место, она позволила ему взять ее руку. Он вздохнул. Старый электрический мотор медленно тащил трамвай по городу и еще медленнее вверх, по склону горы. Ехали они около двух часов, следя, как озеро уходит вниз, как поднимаются горы. Изабелла только изредка что-нибудь ему показывала и больше молчала, думая о своем, но Фримен дал ей полную волю — пусть их отношения расцветают сами по себе, он и этим доволен. Но время тянулось бесконечно — так долго они ехали. Наконец трамвай остановился, и они пошли к вершине горы по лугу, густо поросшему цветами. Хотя туристы толпой шли за ними, но плато на вершине было широким, и они стояли вдвоем, будто вокруг никого не было. Под ними, на зеленых волнах долин Пьемонта и Ломбардии, семь озер лежали зеркалами, отражая неизвестно чьи судьбы. А высоко вдали кольцом изумительных снежных вершин вздымались Альпы. «О-о», — пробормотал он и умолк.

— У нас тут говорят: «un pezzo di paradiso caduto del cielo»*.

— Правильно, — сказал Фримен. Он был глубоко взволнован величием дальних Альп.

Она называла вершины — от Розы до Юнгфрау. Глядя на них, он чувствовал себя на голову выше, он был готов совершить подвиг на удивление человечеству.

— Изабелла... — начал Фримен. Сейчас он попро-

* Кусочек рая, упавший с неба (итал.).

сит ее стать его женой. Но она стояла как-то обособленно, и по лицу ее разлилась бледность.

Плавным движением руки она обвела снежные горы:

— Как они — эти семь вершин — похожи на Менору, правда?

— На что? — вежливо переспросил Фримен. Он вдруг с испугом вспомнил, что она могла увидеть его голым, когда он выходил из озера, и ему хотелось объяснить ей, что в лучших родильных домах обрезание считают обязательным. Но он не посмел. А вдруг она ничего не заметила?

— На семисвечник, и в нем белые свечи подымаются к небу, разве вы не видите? — сказала Изабелла.

— Да, что-то вроде того.

— А может быть, для вас это корона божьей матери вся в алмазах?

— Может быть, и корона, — растерялся он. — Все зависит, как смотреть.

Они спустились с горы и поехали на берег озера. Трамвай шел вниз быстрее, чем вверх. У озера в ожидании Джакоббе с лодкой Изабелла, глядя затуманенными глазами на Фримена, сказала, что должна ему признаться в одной вещи. Ему очень хотелось сделать ей предложение, и он с надеждой подумал: сейчас она скажет, что любит его.

— Моя фамилия не дель Донго, — сказала Изабелла. — Я Изабелла делла Сета. Семья дель Донго уже много лет не приезжает на остров. Мы хранители дворца, мой отец, мой брат и я. Мы бедные люди.

— Хранители? — удивился Фримен.

— Да.

— Эрнесто — ваш отец? — чуть не крикнул он. Она кивнула.

— Это он придумал, чтобы вы назвались чужим именем?

— Нет, я сама. Он только выполнил мою просьбу. Он хочет, чтобы я попала в Америку, но лишь на определенных условиях.

— Вот зачем вы меня разыгрывали! — с горечью сказал он.

Он сам не отдавал себе отчета, почему он так расстроился, ему показалось, что именно этого он и ждал.

Она покраснела и отвернулась.

— Я ничего о вас не знала. Хотелось вас удержать, пока мы не познакомимся поближе.

— Почему вы мне сразу не сказали?

— Должно быть, сперва все это было не всерьез. Я вам говорила то, что вам, как мне казалось, хочется слышать. И в то же время мне хотелось, чтобы вы не уходили. Я подумала: потом все станет яснее.

— Что именно?

— Сама не знаю. — Она посмотрела на него, потом опустила глаза.

— Я ничего не скрываю, — сказал он. Ему хотелось продолжать, но он остановил себя.

— А я именно этого и боялась.

Показался в лодке Джакоббе и подошел к берегу взять сестру. Они были похожи, как две горошины из одного стручка — темные итальянские лица, в глазах — средневековые. Изабелла села в лодку, Джакоббе оттолкнулся одним веслом. Она помахала Фримену уже издалека.

Фримен вернулся в пансион в совершенной растерянности, его ударили по самому больному месту — по его мечте. Он думал, как это он не заметил, что на ней была поношенная юбка, поношенная блузка, как это он ничего не видел. Это было особенно досадно. Он ругал себя дураком за свои дикие фантазии — Фримен влюбился в итальянскую аристократку! Он подумал, не убежать ли ему в Венецию, во Флоренцию, но сердце разрывалось от любви к Изабелле, он помнил, что приехал сюда с простой надеждой — встретить девушку, на которой можно жениться. Сам виноват, что на пути ему встретились осложнения. Целый час Фримен просидел у себя в комнате, но одиночество навалилось на него тяжким грузом, и он понял, что должен во что бы то ни стало вернуть Изабеллу. Он ее от себя не отпустит. Не все ли равно, если графиня стала простой служащей. Она настоящая королева, дель Донго она или нет. Да, она ему солгала, но ведь и он ей лгал, значит они квиты и совесть у него спокойна. Он почувствовал, что теперь, когда туман рассеялся, все станет легче и проще.

Фримен бросился к озеру. Солнце село, лодочники разошлись по домам и, наверно, едят спагетти. Он хотел отвязать какую-нибудь лодку и расплатиться завтра, как вдруг увидел, что кто-то сидит на скамье — Эрнесто, в своей жаркой зимней шляпе, курил самокрутку и, скрестив руки на рукоятке палки, упирался в них подбородком.

— Хотите лодку? — спросил гид вполне мирным голосом.

— Да, да, очень хочу! Вас послала Изабелла?

— Нет.

Сам приехал, потому что она несчастна, угадал Фримен, плачет, наверно. Вот это называется отец — настоящий колдун, хоть с виду и непригляден. Махнет палочкой — и сразу для дочки появится Фримен.

— Садитесь, — сказал Эрнесто.

— Грести буду я, — сказал Фримен и чуть не добавил «отец», но спохватился.

Словно почуяв это, Эрнесто грустно усмехнулся. Фримен сел на корму, на душе стало легче.

Посреди озера, глядя на горы, озаренные последними отблесками заката, Фримен вспомнил про «Менору» там, в Альпах. Откуда она взяла это слово? — подумал он, и сам себе ответил: да мало ли откуда — из книги, с картины. Но как бы то ни было, надо будет сегодня же выяснить этот вопрос раз и навсегда.

Когда лодка пристала к берегу, взошла бледная луна. Эрнесто привязал лодку и подал Фримену карманный фонарик.

— В саду, — устало сказал он, ткнув куда-то палкой.

— Вы не ждите. — И Фримен побежал в сад на берегу озера, где корни деревьев, словно бороды древних старцев, нависли над водой. Фонарик не работал, но луна и память подсказали дорогу. Изабелла, благослови ее бог, стояла у низкой ограды, среди освещенных луною статуй; олени, тигры и единороги, художники и поэты, пастухи со свирелями и лукавые пастушки глядели на отблески, серебрившие воду.

На ней было белое платье, словно она готовилась под венец, а может быть, это и был перешитый подвенечный наряд — скорее всего с чужого плеча, да это и не удивительно в бедной стране, где так берегут

каждую тряпку. Он с удовольствием подумал, как накупит ей всяких красивых обновок.

Она стояла неподвижно, повернувшись к нему спиной, хотя он угадывал, как часто дышит ее грудь. Когда он сказал «добрый вечер», приподняв свою соломенную шляпу, она обернулась к нему с ласковой улыбкой. Он нежно поцеловал ее в губы, она не сопротивлялась и ответила ему таким же легким поцелуем.

— Прощайте! — шепнула она.

— С кем вы прощаетесь? — ласково пошутил Фримен. — Я пришел сделать вам предложение.

Она взглянула на него сияющими влажными глазами, и вдруг отдаленным громом пророкотал неизбежный вопрос:

— Вы еврей?

Зачем мне лгать? — подумал он. — Она все равно уже моя. Но тут его пронзил страх — потерять ее в последнюю минуту, и он ответил, сгорая от стыда:

— Сколько раз нужно повторять одно и то же? Почему вы задаете этот глупый вопрос?

— Потому что я надеялась, что вы еврей. — Она медленно расстегнула лиф платья, ошеломив Фримена, — он не понимал, чего она хочет. Но когда открылась ее грудь, он чуть не заплакал от этой красоты (мелькнуло воспоминание: тогда, на плоту, мог бы любоваться, но приплыл слишком поздно) и вдруг, к своему ужасу, увидел на нежной и свежей коже синеватую татуировку — неясные цифры.

— Бухенвальд, — сказала Изабелла, — я была совсем маленькой. Фашисты нас туда отправили. А это сделали нацисты.

Фримен застонал, взбешенный этой жестокостью, оглушенный таким святотатством.

— Я не могу стать вашей женой. Мы евреи. Наше прошлое мне дорого. Я горжусь, что пострадала за него.

— Евреи? — забормотал он. — Вы? Боже правый, зачем же вы и это скрыли от меня?

— Я не хотела говорить, думала — вам будет неприятно. Сначала я думала — может быть, вы тоже, я так надеялась, да вот ошиблась...

— Изабелла! — закричал он дрожащим голосом. — Слушайте, ведь я, я...

Он искал в темноте ее грудь — прижаться, поцеловать, прильнуть, как к матери, но девушка скрылась за статуями, и Фримен, бормоча ее имя, протянул руки в туман, поднявшийся с озера, но обнял только мрамор, озаренный луной.

Девушка моей мечты

После того как Митка сжег свой душераздирающий роман на заднем дворе, в ржавом мусорном баке с почерневшим дном, его квартирная хозяйка миссис Латц, дама весьма чувствительная, всяческими ухищрениями и уловками старалась выманить его из комнаты, а он, лежа у себя на кровати, по каким-то звукам на ее половине и пронзительному запаху духов понимал, что там бушует на воле неприкаянное женское естество (да, было время, бывали чудеса!), но он не поддавался соблазну и резким поворотом ключа обрекал себя на плен, выходя только поздно ночью, чтобы купить чай, крекеры, а иногда банку компота. Не счесть, сколько недель это тянулось.

Поздней осенью, после полуторагодичного хождения по издательствам — их было больше двадцати, — роман вернулся навсегда к автору, и он швырнул его в мусорный бак, где жгли опавшие листья, и стал размешивать мусор куском железной трубы, чтобы огонь добрался до самой сердцевины рукописи. Над ним с безлистных веток яблони свисало несколько высохших яблок, словно забытые елочные игрушки. Когда он мешал в баке, искры летели вверх, обжигая сморщенные яблоки, — они словно воплощали не только гибель всего его творчества (три долгих года!), но и гибель всех надежд, всех гордых мыслей, вложенных в книгу, и, хотя Митка особой чувствительностью не страдал, ему казалось,

что за эти два с лишком часа (рукописи горят медленно) он выжег в себе незаживающую рану.

В огонь полетели и всякие бумаги (он сам не понимал, зачем он их берег), копии писем в литературные агентства и ответы на них, но главным образом печатные бланки с отказами, иногда две-три строчки на машинке от дам-издательниц, где говорилось, что рукопись романа возвращается по многим причинам, но главным образом потому — и эта формулировка повторялась, — что она слишком символистична, а потому и слишком туманна. Только одна из дам написала: «Пишите нам еще». Митка клял их всю, но рукопись так никто и не принял. И все-таки Митка целый год работал над новым романом, а когда старый окончательно вернулся к нему, он перечитал и его и новый роман и, обнаружив, что и этот полон символизма, а потому еще туманнее первого, отложил рукопись в ящик. Правда, потом он иногда вылезал из постели и пытался записать какие-то мысли, но слова не шли с пера, и к тому же он потерял веру: да может ли он сказать что-то значительное, а если и сможет, то ни один рецензент издательства в своей вылизанной до блеска конторе на верхнем этаже одного из небоскребов Мэдисонавению не поймет его правдивые и трагические произведения. Поэтому он месяцами ничего не писал, о чем миссис Латц шумно горевала, и клялся никогда больше не писать, хотя и чувствовал всю бесплодность этой клятвы, потому что, клянись не клянись, писать он все равно не мог.

Теперь Митка часами просиживал один, как пень, в своей комнате с выцветшими желтыми обоями, со

скверной раскрашенной репродукцией картины Ороско, приколотой кнопками над облезлой каминной доской (картина изображала скрюченных от работы и горя мексиканских крестьян), и не сводил покрасневших от напряжения глаз с голубей, возившихся на соседней крыше, или бесцельно следил за движением на улице, не видя людей. Спал он, худо ли, хорошо, но подолгу, ему снились гадкие сны, иногда душили кошмары, и, просыпаясь, он неотрывно смотрел в потолок, никогда не заменявший ему небо, хотя он и пытался вообразить, что идет снег. Он слушал музыку, когда она звучала издалека, иногда пробовал читать что-нибудь из истории или философии, но сердито захлопывал книгу, если она подстегивала воображение и наводила его на мысль о возможности писать. Иногда он предостерегал себя: «Митка, надо это кончать, не то ты сам кончишься», но никакие предостережения не помогали. Он отощал, погрузился и однажды, одеваясь, увидел свои худые ляжки и чуть не заплакал, если бы умел плакать.

Миссис Латц сама была писательницей, правда писала она плохо, но интересовалась писателями, и, когда они ей попадались, охотно сдавала им комнаты (она ловко умела выпросить и разноухать профессию человека при первом же знакомстве), даже если теряла на этом деньги. Миссис Латц знала все Миткины дела и каждый день, хотя и безуспешно, пробовала в них вмешаться. То она пыталась заманить его на кухню, соблазнительно описывая горячий завтрак: «Домашний суп, Митка, белые булочки, телячий студень, рис под томатным соусом, свежая зелень, чудное жаркое — цыплячья грудка, а захо-

тите — бифштекс, и сладкое — по вкусу, по выбору». То она подсовывала ему под двери толстые письма в запечатанных конвертах, где описывалось ее раннее детство или интимные подробности горькой жизни с мистером Латцем, с пожеланиями лучшей судьбы для Митки. Иногда она оставляла у дверей книжки, вытасенные из старых шкафов, — он не читал их — журналы, где чужие рассказы были отмечены и написано: «Вы умеете писать лучше», или же еще не читанный, свежий номер «Райтерс джорнэл» *, приходивший по подписке. В один из дней, когда все эти попытки провалились, — дверь оставалась закрытой, а Митка молчал, хотя она целый час пряталась в коридоре, ожидая, пока он выйдет, миссис Латц опустила на мощное, как у лошади, колено и прильнула одним глазом к замочной скважине: Митка неподвижно лежал на кровати.

— Митка, — простонала она, — как вы исхудали, чистый скелет, мне просто страшно. Ну пойдете на кухню, поешьте.

Он лежал не двигаясь, и она попробовала соблазнить его по-другому:

— Слушайте, я принесла чистые простыни, дайте я вам хоть перестелю кровать, проветрю комнату.

Но он только простонал:

— Уходите!

Миссис Латц искала, что бы еще сказать.

— Митка, у нас новая жилища, на вашем этаже, молодая, красавица, ее зовут Беатриса, и она тоже писательница!

Он молчал, но, очевидно, прислушивался.

* Журнал для писателей.

— Ей, наверно, двадцать один, ну, от силы двадцать два — вся такая нежненькая, талия тонкая, грудки крепкие, сама прехорошенькая, вы бы посмотрели — повесила свои штанишки на веревку, ну, прямо как цветочки!

— А что она пишет? — сурово спросил он.

— Пока что только рекламы, как я понимаю, но ей хочется писать стихи.

Он молча повернулся на другой бок.

Она оставила в прихожей поднос с миской горячего супа — Митка чуть не спятил от одного запаха, — две сложенные простыни, наволочку, чистые полотенца и сегодняшний номер «Глобуса».

Он сожрал суп дочиста и только что не сжевал простыни, потом развернул газету, чтобы еще раз убедиться — ничего интересного там нет. Прочел заголовки: правильно! Он уже смял было газету, собираясь выкинуть ее в окно, но вдруг вспомнил, что там есть «Открытая страница» — редакционные статьи, куда он не заглядывал лет сто. Когда-то он дрожащей рукой подавал пять центов и хватал газету: «Открытая страница» — добро пожаловать! — обращение к публике, ко всем неизвестным писателям, посылайте свои рассказы, пять долларов за тысячу слов. И хотя он с ненавистью вспоминал об этом теперь, но именно успех в этом журнале — с десяток рассказов, принятых меньше чем за полгода (он тогда еще купил синий костюм и двухфунтовую банку джема), заставили его взяться за роман (мир праху его!). А после этого второе детоубийство, бессилие, бешеная ненависть к себе, мучившая

его до сих пор. «Открытая страница» — как бы не так... Он скрипнул зубами, сразу заняли незапломбированные дыры. Но в воспоминаниях о прошлой славе не было горечи: всякий раз его читали четверть миллиона читателей, и это тут, в одном городе, так что все знали, когда появлялись его вещи (его читали в автобусах, в кафе, на скамейках и в парке, а сам Митка-волшебник, крадучись, подсматривал — кто смеется, кто плачет). Были тогда лестные письма от издателей, редакторов, даже письма от поклонников, от самых неожиданных людей — да, слава над тобой ахает и охает взახлеб... И, вспоминая, он покосился повлажневшим глазом на строчки и вдруг стал пожирать букву за буквой.

Рассказ бил прямо под ложечку. Эта женщина, Мадлен Торн, писала от первого лица, и хотя она о себе говорила вскользь, но он сразу представил себе ее — года двадцать три, тоненькая, но округлая, вся — сплошное сочувствие, понимание, — словом, не зря она существовала, эта Торн: по крайней мере сейчас она была здесь с ним, бегала по его лестнице вверх и вниз, радуясь и ужасаясь. Она тоже жила в мебелированных комнатах, тоже работала над романом урывками, по ночам, после изматывающей секретарской службы; страницу за страницей, аккуратно переписанную на машинке, она складывала в старую картонную коробку под кровать. Как-то вечером, под самый конец романа — оставалось переписать последнюю главу черновика — она вытащила картонку и, лежа в постели, перечитала книгу: посмотреть, что у нее вышло. Страница за страницей падали на пол; и, наконец, сон ее сморил, но и во сне ее одолевало сомнение, хорошо ли получилось.

Сколько еще надо править и переписывать — это она поняла при чтении. Она проснулась внезапно от яркого солнца, светившего прямо в глаза, и вскопчила в испуге: оказывается, она забыла завести будильник. Одним взмахом руки она метнула исписанные страницы под кровать, улыбась, надела чистое платье, быстро провела гребнем по волосам и бросилась бегом по лестнице — вон из дому.

Как ни странно, на работе день прошел превосходно. Снова она мысленно перечитала свой роман и наметила, что надо исправить — не так уж много! — чтобы вышла хорошая книга, такая, какой она ее задумала. Домой бежала счастливая, с цветами, и на первом этаже ей попала навстречу хозяйка, вся в поклонах и улыбках: вот и не угадаете, что я для вас сделала сегодня, — и пошло описание новых занавесок, нового покрывала на постель — все в тон! — и даже коврик, чтобы ножкам было тепло, а самый главный сюрприз — генеральная уборка — вся комната вычищена, сверху донизу. О боже! Девушка метнулась вверх по лестнице. Упав на колени у кровати, она вытащила картонку — пусто! Молнией — вниз. «Хозяйка, где же рукопись, она была под кроватью», — спросила она, прижав ладони к горлу. «Ах, милуша, вы про листки? Да, я их нашла под кроватью. Решила, что вы хотели их выбросить, — и выбросила».

Мадлен, с трудом овладевая голосом: «Они, может быть, в мусорном ящике? Кажется, до четверга мусор не вывозят?» — «Нет, нет, душенька, я их сожгла в баке еще утром. Целый час глаза болели от дыма». Занавес. Митка со стоном повалился на кровать.

Он был убежден, что все это чистая правда. Он видел, как идиотка хозяйка швыряет рукопись в бак, мешая огонь, пока не догорит самая последняя страница. Он стонал при мысли об этом — горели годы драгоценного труда. Рассказ его преследовал. Ему хотелось убежать, уйти из своей комнаты, забыть об этом несчастье, этой горе. Но куда было идти, что делать без единого цента в кармане? И он валялся на кровати, видя во сне и наяву горящие листки в баке (их рукописи горели вместе!), мучаясь и ее и своей мукой. А бак, как символ, возникший перед ним, изрыгал огонь, метал искры слов, пускал дым, жирный как нефть. Бак накалялся докрасна, желчно желтел, затухая, потом чернел, доверху наполняясь пеплом человеческих костей — сами знаете чьих! А когда его фантазия затихала, его охватывало горе за девушку. Последняя глава — какая ирония! Весь день он жаждал утешить ее, выразить сочувствие ласковым словом, жестом, уверить ее, что она все напишет снова, только еще лучше. К полуночи он не выдержал этого напряжения. Сунув лист бумаги в машинку, он крутнул ролик, и в тишине уснувшего дома машинка застрекотала, выстукивая ей письмо (через журнал «Глобус») с выражением глубокого сочувствия, — он сам тоже писатель — с просьбой не сдаваться, снова писать. Искренне ваш Митка. В ящике нашелся конверт, липучая марка. И наперекор здравому смыслу он прокрался на улицу и опустил письмо.

И тут же пожалел. С ума он сошел, что ли? Ну ладно, предположим, он ей написал. А вдруг она ответит? Очень ему нужно, не хватает только такой переписки! У него просто нет сил на это. И он радо-

вался, что почта ничего не приносит ему с самого ноября, когда он сжег свой роман, а на дворе теперь стоял февраль. И все же следующий раз, когда он тайком, ночью, прокрался из спящего дома — купить еды, он, издеваясь над собой, зажег спичку и заглянул в почтовый ящик. А на следующий вечер даже запустил пальцы в щель — нет, пусто, так ему и надо. Глупейшая история! Он почти забыл ее рассказ, вернее, с каждым днем думал о нем все меньше и меньше. Если девушка случайно ответит, то миссис Латц сама принесет ему почту — она и так пользуется любым предлогом, чтобы отнимать у него время. И на следующее утро он услышал, как его курьер, легко неся по лестнице располневшее тело, подымается к нему — значит, девушка написала. Спокойно, Митка! И хотя он предостерегал себя — не давать воли мечте, но сердце у него заколотилось, когда старая кокетка жеманно постучалась к нему. Он промолчал. Проворковав: «Это вам, Митка, миленький!», она сунула конверт под двери — ей это всегда доставляло удовольствие. Подождав, пока она уйдет — не хотелось, чтобы она слышала, как он берет письмо, — еще обрадуется! — он соскочил с кровати и вскрыл конверт. «Милый мистер Митка (какой женственный почерк!)! Спасибо за сочувствие, за ваши добрые слова. Искренне ваша М. Т.». И все — ни обратного адреса, ничего. Он захотел сам над собой и бросил письмо в мусорную корзинку. Но назавтра он хохотал еще громче: пришло второе письмо, оказывается, рассказ — выдумка, она все это сочинила, но, по правде говоря, она очень одинока, и, может быть, он ей снова напишет?

Митке все давалось трудно, однако он все же написал ей. Времени было много, дел никаких. Он уговаривал себя, что пишет ей, потому что она одинока — ну ладно, потому что оба они одиноки. В конце концов он себе признался, что пишет письма потому, что ничего другого писать не может, и это его немного утешило, хотя он был не из тех, кто боится правды. Митка чувствовал, что, несмотря на клятву никогда не возвращаться к писанию, он надеялся, что эта переписка вернет его к брошенному роману. («Бесплодный писатель ищет выхода из своей бесплодности путем утешительной эпистолярной связи с дамой-писательницей».) Ясно как день, этими письмами он пытается изжить ненависть к себе за то, что не работает, за то, что никаких замыслов у него нет, что он себя отгораживает от них. Эх, Митка! Он вздыхал над этой слабостью — ставить себя в зависимость от других. И хотя его письма часто звучали резко, вызываяще, иногда даже зло, она отвечала ему теплым пониманием, нежным, мягким, податливым, и через какое-то время (разве тут станешь сопротивляться? — с горечью думал он), он сам предложил встретиться. Он первый заговорил об этом, и она (с некоторой нерешительностью) сдалась, хотя, спрашивала она, не лучше было бы обойтись без личного знакомства?

Встречу назначили в понедельник вечером, в отделе местной библиотеки, неподалеку от ее работы — в этом сказалась ее книжность; он сам чувствовал бы себя свободнее на улице. На ней, писала она, будет что-то вроде красноватого капюшона. Тут Митка всерьез задумался — как же она выглядит? Судя по письмам, она была скромной, неглупой, ис-

кренней, но ведь есть же у человека и внешность? Хотя он любил хорошеньких женщин, он догадывался, что она не такая. Он чувствовал это отчасти по ее намекам, отчасти интуитивно. Он представлял себе ее приятной на вид, хотя и тяжелой. Да разве это важно, если в ней столько женственности, ума, смелости? В наше время таким людям, как он, необходимо что-то незаурядное, необычное.

В мартовском вечернем холодке уже крылось дыхание весны. Митка открыл оба окна и впустил к себе вольный воздух. Он уже собрался выйти, как кто-то постучал к нему. «Вас к телефону!» — раздался девичий голосок. Видно, Беатриса-рекламщица. Подождав, пока она уйдет, он отпер двери и вышел в прихожую на первый в этом году телефонный вызов. Беря трубку, он увидел, как свет пробился сквозь приоткрывшуюся щелку коридорной двери. Он сердито насутился, и дверь закрылась. Хозяйкина вина: она всем жильцам изобразила его каким-то монстром: «Мой жилец писатель...»

— Митка?

Говорила Мадлен.

— Это я.

— Митка, вы знаете, почему я звоню?

— Откуда мне знать?

— Немножко опьянела — выпила вина.

— Приберегите на потом.

— Это я со страху.

— А чего бояться?

— Мне так дороги ваши письма, будет ужасно, если вы перестанете писать. Неужели нам необходимо встретиться?

— Да! — прошипел он.

— А вдруг я не такая, как вы воображали?

— Это мое дело.

Она вздохнула:

— Ну что ж, хорошо.

— Придете?

В ответ — ни звука.

— Ради бога, не подводите меня!

— Хорошо, Митка, — и она повесила трубку.

Нервы, ребячество. Он нашарил последний доллар в ящике и выскочил из комнаты, чтобы она не успела передумать, уйти. Но у лестницы внизу его поймала миссис Латц в фланелевом халате, ее седеющие волосы развевались, голос дрожал:

— Митка, почему вы меня избегаете? Сколько месяцев я жду — хоть бы слово, одно слово! Как вы можете, так жестоко...

— Извините! — Он отодвинул ее, выбежал из дому. Спятила дамочка.

Свежая струя воздуха, пахнувшая ему навстречу, смысла неприятное чувство, отозвалась всхлипом в горле. Он пошел быстрым шагом, словно ожив, после многих дней и месяцев.

Библиотека помещалась в старом каменном доме. Он обошел зал выдачи, где, прогибая доски пола, стояли книги, но там сидела только зевающая библиотечарша. В детской комнате было темно. В справочной, у длинного стола, в одиночестве читала пожилая женщина; на столе стояла битком набитая хозяйственная сумка. Митка оглядел комнату и уже хотел уйти, но вдруг чудовищная догадка пронзила его мозг: это была она! Он смотрел, не веря се-

бе, сердце моталось, как мокрая тряпка. Бешенство охватило его. Да уж, сбита плотно — ничего не скажешь, но эти очки — ох, до чего нехороша! Черт, она даже цвет не сумела описать — капюшон на ней какой-то линялый, грязно-оранжевый. Какое грандиозное надувательство — когда и где человека обманывали так жестоко, так беспощадно? Первым побуждением было бежать, набрать воздуха, но она приковала его к месту, спокойно читая книгу (хитрая, чувствует, что тигр тут, в комнате). Дрогнул у нее хоть на миг опущенные веки, подыми она глаза — и он наверняка вылетел бы отсюда; но она устремила взгляд в книгу и давала ему волю — скройся, если угодно. От этого он еще больше взбесился. Кому нужна милость от старухи? Митка шагнул (несчастный!) к столу:

— Мадлен? — в имени звучала издевка. (Писатель ранит птицу на лету. Ему все мало.)

Она взглянула на него с робкой и горестной улыбкой:

— Митка?

— Он самый! — Его поклон был насмешкой.

— Мадлен — имя моей дочери, я взяла его как псевдоним для рассказа. Меня на самом деле зовут Ольга.

Пропади она пропадом — все враки! Однако он в надежде спросил:

— Это она вас послала?

Женщина грустно усмехнулась.

— Нет, это я сама. Сядьте, Митка.

Он угрюмо сел, мелькнула злодейская мысль: разрубить бы ее на куски да сжечь останки в мусорном баке миссис Латц.

— Скоро библиотека закрывается, — сказала она. — Куда мы пойдем?

Он молчал как оглушенный.

— Я знаю тут, за углом, пивную, там можно перекусить, — предложила Ольга.

Она застегнула поношенное пальто, надетое поверх серого свитера. Наконец он встал. Встала и она и пошла за ним, таща тяжелую сумку по каменным ступеням.

На улице он взял сумку — камни там, что ли — и потащился следом за Ольгой в пивнушку.

Вдоль стены, в темных закутках, напротив покоренной стойки, стояли столики. Ольга прошла в самый дальний угол.

— Тут тихо, никто не помешает.

Он положил сумку на стол.

— Воняет тут, — сказал он.

Они сели друг против друга. С каждой минутой настроение у него падало — только подумать: провести с ней целый вечер. Какая ирония — сидеть взаперти, как крыса в норке, и выйти вот для этого. Нет, он вернется домой, он замурует себя навеки...

Она сняла пальто.

— В молодости я бы вам понравилась, Митка. У меня была воздушная фигурка, роскошные волосы. Мужчины очень за мной ухаживали. Не то чтобы меня можно было назвать соблазнительной, но чувствовалось — во мне что-то есть.

Митка отвел глаза.

— Я была очень живая, какая-то очень цельная. Я любила жизнь. А для моего мужа я была слиш-

ком одаренной. Он не мог понять меня, и это послужило причиной нашей разлуки — он бросил меня, вы понимаете, с двумя маленькими детьми.

Она поняла, что Митка не слушает, тяжело вздохнула и вдруг разрыдалась.

Подошел официант.

— Одно пиво. А даме принесите виски.

Она вынула два носовых платка. В один высморкалась, другим вытерла глаза.

— Видите, Митка, я же вам говорила.

Ее унижение тронуло его.

— Да, вижу, — сказал он. И почему он ее не послушался, дурак этакий?

Она смотрела на него с печальной улыбкой в глазах. Без очков она выглядела лучше.

— А вы точно такой, каким я вас представляла, только я никак не ожидала, что вы такой худой.

Тут Ольга открыла хозяйственную сумку и вытащила множество пакетов. Она вынула хлеб, колбасу, селедку, итальянский сыр, мягкую копченую ветчину, пикули и большую ножку индейки.

— Иногда я себя балую всякими вкусностями. Ешьте, Митка, ешьте.

Еще одна квартирная хозяйка. Только дай Митке волю — сразу очарует чью-нибудь мамашу. Но он стал есть, благодарный ей за то, что она нашла, чем занять его время.

Официант принес напитки.

— Это еще что за пикник?

— Мы писатели, — объяснила Ольга.

— То-то хозяин обрадуется!

— Не обращайтесь внимания, Митка, кушайте!

Он ел без охоты. Но надо же человеку жить. А может, не надо? Когда еще ему было так уныло? Наверно, никогда.

Ольга понемножку пила виски.

— Ешьте, это ведь тоже самовыражение.

И он самовыразился, доев салами, полхлеба, весь сыр, селедку. Аппетит у него рос. Порывшись в сумке, Ольга вытащила нарезанное ломтиками мясо и спелую грушу. Он сделал сандвич из мяса. С ним холодное пиво показалось очень вкусным.

— А как вам сейчас пишется, Митка?

Он опустил было стакан, но передумал и залпом допил пиво.

— Не надо об этом говорить.

— А вы не опускайте голову, держитесь. Работайте каждый день.

Он грыз ножку индейки.

— Я сама всегда работаю так. Пишу я уже двадцать лет, а иногда — по той или иной причине — выходит настолько плохо, что продолжать не хочется. И знаете, что я тогда делаю? Даю себе короткий отдых, а потом берусь за другой рассказ. И когда все приходит в норму, я снова берусь за брошенный рассказ и обычно переписываю заново. Конечно, иногда я обнаруживаю, что возиться не стоит. Вот когда вы попишете с мое, вы сами выработаете систему — как сделать, чтоб работа шла. Все зависит от вашего мировоззрения. Если вы человек зрелый, вы сами найдете способ работать.

— Все мои писания — сплошная путаница, — вздохнул он. — Муть, туман.

— Вы найдете выход, — сказала Ольга, — если только не бросите работу, постараетесь как следует.

Они еще немного посидели. Ольга рассказала ему о своем детстве, о юности. Она говорила бы еще дольше, но Митка не мог усидеть. Он все думал: а что дальше? Куда ему девать эту дохлую кошку — свою душу?

Остатки еды Ольга убрала в хозяйственную сумку.

На улице он спросил: куда ей?

— Пожалуй, на автобус. Я живу на той стороне, за рекой, с сыном, с его кислятиной женой и с их дочуркой.

Он взял сумку — теперь нести было легко — и с сигареткой в другой руке пошел к автобусной остановке.

— Хотелось бы познакомиться вас с моей дочкой, Митка.

— А почему бы и нет? — спросил он с надеждой, сам удивляясь, почему он раньше о ней не спросил, хотя все время об этом думал.

— У нее были чудные волосы, прелестная точеная фигурка. А такого характера я нигде не встречала, вы бы влюбились в нее.

— А что с ней? Вышла замуж?

— Она умерла в двадцать лет, в расцвете жизни. Все мои рассказы, в сущности, о ней. Когда-нибудь соберу лучшие, посмотрю — нельзя ли их издать книжкой.

Он чуть не упал, но, шатаясь, пошел дальше. Ради Мадлен он вышел сегодня из своей норы, ее он хотел прижать к своему одинокому сердцу, но она разлетелась вдребезги, метеором расплылась в недостижимой выси, в небе, а не на земле, и он остался внизу оплакивать ее.

Наконец пришли к остановке, и Митка посадил Ольгу в автобус.

— Мы встретимся, Митка?

— Лучше не надо.

— Почему?

— Мне от этого грустно.

— Но вы будете мне писать? Вы не знаете, что значат для меня ваши письма. Я ждала почтальона, как молоденькая девушка.

— Посмотрим! — Он соскочил с автобуса.

Она крикнула ему из окна:

— Не беспокойтесь о своей работе! Больше дышите свежим воздухом. Будете здоровы — будете и писать, все зависит от здоровья.

Его лицо ничего не выражало, но он жалел ее, жалел ее дочку, жалел весь мир. А кого не жаль?

— Характер — вот что самое главное в трудные минуты, конечно, если при этом есть талант. Когда вы меня увидели в библиотеке и не ушли, я сразу подумала — вот человек с характером.

— Спокойной ночи, — сказал Митка.

— Спокойной ночи, голубчик. Напишите мне поскорее.

Она откинулась в кресле, и автобус с грохотом вышел из депо. На повороте она помахала из окна.

Митка пошел в другую сторону. У него было какое-то непривычное ощущение, и он вдруг понял, что не чувствует голода. Он мог бы прожить целую неделю на то, что съел сегодня. Митка — верблюд.

Весна... Она схватила его, сжала. Тщетно он попытался вырваться от нее, он был в плену у этой весенней ночи, идя домой к миссис Латц.

Он подумал об этой доброй женщине. Вот он сейчас вернется домой, закутает ее с ног до головы в белые струящиеся одежды. Вместе они проследуют по лестнице, а там (он был из породы единокорачных) он перенесет ее через порог, обняв за талию, где жир выпирал из корсета, и они закружатся в вальсе по его писательскому кабинету.



Сапожника Филда очень раздражало, что его подмастерье Сوبель без передышки колотит по сапожной «лапе», не замечая, что Филд что-то обдумывает. Филд сердито покосился на Собея, но тот, низко склонив лысеющую голову над работой, ничего не замечал. Пожав плечами, сапожник снова долго вглядывался в полузамерзшее окошко, за которым смутно мельтешил мелкий февральский снежок. Но ни белая муть за окном, ни внезапное отчетливое воспоминание о заснеженной польской деревеньке, где впустую прошла его юность, не могли вытеснить мысль о Максе, студенте колледжа (сапожник неотступно думал о нем, с того самого утра, когда Макс, весь в снегу, протопал мимо окна на занятия). Филд уважал Макса за то, что тот шел на любые жертвы и все эти годы, в зимнюю стужу и в удушливый зной, упорно продолжал учиться. Сапожника и сейчас назойливо преследовала одна мечта: вот если бы у него был такой сын вместо дочки. Но снег сметал эту мечту, да и Филд ко всему прочему был еще и очень трезвым человеком. И все же он волей-неволей сравнивал этого прилежного юношу — сына старьевщика — со своей дочкой Мириам, глубоко равнодушной ко всякому образованию. Правда, она вечно читала книжки, но, когда появилась возможность поступить в колледж, она сказала: нет, лучше пойти на работу. Отец упрасивал ее, уговаривал — не у всякого отца есть возможность послать свою дочь в колледж, но

она заявила, что хочет стать независимой. И потом что такое образование? Главным образом — чтение книг, а Собель, который так хорошо знает всех классиков, всегда советует ей, какие книги читать. Ее слова очень огорчили отца.

Из снежной мглы вынырнула фигура, дверь отворилась. У прилавка вошедший вытащил из мокрого бумажного мешка пару поношенных башмаков на починку. Сапожник не сразу понял, кто это, но вдруг сердце у него дрогнуло: еще не разглядев как следует лица, он угадал, что перед ним стоит Макс и сбивчиво объясняет, что надо сделать с этими старыми башмаками. И хотя Филд напрягал все свое внимание, он ни слова не слышал, так оглушила его мысль о представившихся возможностях.

Он не мог вспомнить, как впервые зародилась у него эта идея, но одно было ясно: он уже не раз думал о том, как бы предложить Максу познакомиться с Мириам. Но он не осмеливался заговорить об этом: вдруг Макс сразу скажет — нет, как он тогда будет смотреть ему в глаза? А вдруг Мириам, которая так носитя со своей независимостью, устроит ему сцену — зачем он вмешивается? Но такой случай нельзя было упустить: ведь он хотел только одного — познакомить их. Да они уже давно и сами могли бы подружиться, если бы где-нибудь встретились, так неужели он не должен, не обязан как-то свести их, просто дать им случай познакомиться, вместо того чтобы ждать случайной встречи, скажем в метро, или знакомства на улице через общих друзей. Пусть Макс хоть раз встретится с ней, поговорит — уж тогда-то он непременно заинтересуется девушкой. А Мириам, которая на работе, в конторе,

видит только крикунов коммивояжеров и неучей конторщиков, — разве для нее плохо познакомиться с хорошим, интеллигентным человеком? Может быть, он сумеет прихотить ее к учению, уговорит поступить в колледж, а если нет — тут сапожник отчетливо понял, чего он хочет, — если нет — пусть выйдет замуж за образованного человека и заживет по-человечески.

Когда Макс объяснил, наконец, что надо сделать с башмаками, Филд пометил мелом подметки — на обеих зияли огромные дыры, но он старался их не замечать, — поставил на них «икс», а каблуки, сношенные до гвоздей, отметил буквой «о», хотя его одолевало беспокойство — не перепутал ли он буквы? Макс спросил, сколько это будет стоить, и сапожник, откашлявшись и перекрывая упрямый стук молотка Собеля, попросил юношу пройти с ним через боковую дверь, в прихожую. Макс удивился, но отказываться не стал, и Филд прошел за ним. Минуту они стояли молча, потому что Собель перестал стучать, и они оба как будто понимали, что нельзя ничего говорить, пока стук не возобновится. И когда Собель снова застучал еще громче, сапожник торопливо объяснил Максу, зачем он его позвал.

— С того самого дня, как вы пошли в колледж, — сказал он, стоя в полутемной прихожей, — я каждое утро смотрел, как вы идете себе в метро, и думал: вот хороший мальчик, смотрите, как он хочет учиться!

— Спасибо, — сказал Макс настороженно и нервно. Он был высок и до смешного худ, остролицый и очень остроносый — нос у него походил на клюв. Длинное, заляпанное грязью пальто болталось на

нем, словно одеяло, брошенное на костлявые плечи, старая рыжая шляпа и поношенные башмаки промокли насквозь.

— Я человек деловой, — сказал отрывисто сапожник, стараясь скрыть волнение, — я вам прямо скажу, зачем я вас позвал. У меня есть дочка Мириам, ей девятнадцать лет — хорошая девушка и такая красивая, что на улице все на нее оборачиваются. И умница — книжку из рук не выпускает; ну, я и подумал: почему бы молодому человеку, такому образованному, как вы, не познакомиться с моей дочкой, а вдруг вам будет интересно?

Он неловко улыбнулся, хотел еще что-то добавить, но сообразил, что лучше не стоит.

Макс уставился на него ястребиным глазом. Сначала он неловко молчал, потом спросил:

— Вы сказали, ей девятнадцать?

— Да.

— А можно спросить — у вас нет ее карточки?

— погодите минуточку! — Сапожник исчез в мастерской и, вернувшись, торопливо протянул Максу любительскую фотографию.

Макс поднес ее к свету.

— Она ничего, — сказал он.

Филд ждал.

— А она серьезная, не какая-нибудь пустышка?

— Нет, она очень серьезная.

Немного помолчав, Макс сказал, что он не прочь с ней познакомиться.

— Вот мой телефон, — заторопился сапожник, подавая ему листок бумаги, — позвоните ей. Она в шесть приходит с работы.

Макс сложил листок и сунул его в потертый кожаный бумажник.

— Да, а как насчет ботинок? Сколько, вы сказали, это будет стоить?

— О цене не беспокойтесь.

— Нет, мне хотелось бы знать.

— Ну, доллар... полтора. Да, полтора доллара, — сказал сапожник.

Но ему сразу стало неловко, потому что обычно за такую работу он брал два доллара и двадцать пять центов. Надо было либо сказать обычную цену, либо вовсе денег не брать.

А когда он вернулся в мастерскую, он вздрогнул от неожиданного грохота и увидел, как Собель изо всех сил колотит по голому железу колодки. Колодка разлетелась, грохнулась об пол, со стуком отскочила к стенке, но, прежде чем взбешенный сапожник успел крикнуть на Собеля, тот схватил с вешалки пальто и шапку и выскочил в снежную завируху.

Вышло так, что у Филда, который с такой надеждой думал о встрече дочки с Максом, прибавилось много хлопот.

Без своего энергичного помощника он совсем пропадал: вот уж сколько лет он один с мастерской не справлялся. Сердце у него слабое, никак нельзя переутомляться, того и гляди совсем сдаст. Пять лет назад, после припадка, ему казалось, что надо либо продавать мастерскую с аукциона и жить на гроши, или же отдаться на милость какому-нибудь жулику компаньону, который вконец разорит его. Но в минуту самого горького отчаяния, однажды вечером, пря-

мо с улицы пришел этот беженец из Польши, этот Собель, и попросил работы. Он был коренастый, плохо одетый человек, с лысеющей, когда-то светловолосой головой, суровым некрасивым лицом и добрыми голубыми глазами, на которые часто набегали слезы, особенно когда Собель читал свои грустные книжки, и хоть он был человек молодой, но казался почти стариком — ему никто не дал бы его тридцати лет. Он сразу признался, что в сапожном деле ничего не смыслит, но работать будет старательно, денег много не просит, лишь бы Филд выучил его ремеслу. Решив, что от земляка подвохов надо ждать меньше, чем от постороннего, Филд взял его к себе, и через шесть недель беженец чинил башмаки не хуже его, а вскоре, к великому облегчению сапожника, взял все дело в свои руки.

Филд мог доверять ему во всем и часто, поработав в мастерской два-три часа, уходил домой, оставляя все деньги в кассе, — знал, что Собель сбережет каждый цент. Удивительнее всего было то, что спрашивал он так мало. Потребности у него были самые скромные, деньги его не интересовали, а интересовался он только книгами, которые одну за другой давал читать Мириам с обширными комментариями, — он писал их странным почерком, сидя по вечерам в своей одинокой комнатушке. Сапожник с удивлением вглядывался в эти толстые блокноты и пожимал плечами, когда его дочка уже с четырнадцати лет читала их, словно драгоценные страницы слова божьего. Филд хотел помочь Собелю и даже иногда платил ему немного больше, чем было договорено. И все же совесть мучила его: почему он не настаивает, чтобы подмастерье согласился на прибавку, ведь Филд честно

говорил ему, что в другом месте Собель зарабатывал бы больше, особенно если бы открыл собственную мастерскую. Но подмастерье довольно нелюбезно отвечал, что никуда он уходить не желает, и Филд часто спрашивал себя — что его тут держит? Почему он не уходит? — и наконец решил, что после всех своих страшных испытаний беженец просто боится людей.

После истории с разбитой колодкой сапожник так рассердился на Собея, что решил — пусть тот с недельку попарится в своей каморке, хотя ему одному было очень трудно, здоровье страдало, да и дело терпело убыток. Но жена и дочка так настойчиво грызли его и пугали, что он, наконец, пошел за Собедем, как уже случилось однажды, не так давно, когда тот обиделся из-за пустяка: в тот раз Филд только попросил его не давать Мириам так много книжек, у нее от этого чтения глаза совсем покраснели и устали, и тогда подмастерье рассердился и ушел из мастерской. Впрочем, в тот раз все кончилось благополучно: после того как сапожник поговорил с ним, Собель вернулся в мастерскую и снова сел за работу. На этот раз, когда Филд потащился по снегу к дому, где жил Собель (он хотел было послать Мириам, но ему стало неприятно от одной этой мысли), его встретила в дверях толстая хозяйка и гнусавым голосом заявила, что Собея нет дома, и Филд, зная, что это подлая ложь, — куда ему ходить, этому беженцу? — все же Филд промолчал, сам не понимая почему — может быть, от усталости и от холода. Он просто вернулся домой и нанял другого помощника.

Дело уладилось, но не совсем так, как надо бы: Филду приходилось работать гораздо больше, чем

раньше; например, он уже не мог по утрам подольше лежать в постели — надо было вставать, идти отпирать мастерскую для нового помощника — молчаливого, черноволосого человека, неприятно и натужно хрипевшего за работой. Ему нельзя было доверить ключи, как Филд доверял их Собелю. Кроме того, этот помощник хоть и умел неплохо чинить обувь, но совсем не разбирался в качестве кожи и в ценах, так что Филду самому приходилось делать все закупки и ежедневно, перед закрытием, пересчитывать деньги в кассе и запирать мастерскую. Однако особого недовольства он не испытывал, потому что все его мысли были заняты Максом и Мириам. Студент позвонил ей, и они договорились встретиться в будущую пятницу. Сам Филд предпочел бы субботу — тогда было бы видно, что Макс придает встрече большое значение, но, узнав, что Мириам сама выбрала пятницу, он промолчал. Не все ли равно, в какой день встречаться? Главное — что из этого выйдет? Понравятся ли они друг другу, захотят ли подружиться? Он вздохнул — долго же ему придется ждать, пока все выяснится. Иногда ему хотелось поговорить с Мириам о Максе, спросить, как она думает, может ли ей понравиться человек такого склада? Ведь он только рассказал ей, что ему юноша кажется приятным и что он сам подал ему мысль — позвонить Мириам. Но лишь только он попытался заговорить об этом, Мириам на него огрызнулась, и вполне справедливо: действительно, откуда ей знать заранее?

Наконец настала пятница, Филд чувствовал себя неважно и лежал в постели, а миссис Филд решила, что лучше посидеть с ним в спальне, когда пришел

Макс. Перед уходом Мириам привела Макса к дверям спальни, и он на минуту остановился у порога, высокий, слегка сутулый, в толстом обвисшем пальто, но поздоровался он с сапожником и его женой без стеснения, что, несомненно, было хорошим признаком. И Мириам хоть и проработала весь день, была очень свежа и красива. Она была крупная, хорошо сложенная девушка, с приятным открытым лицом и мягкими волосами. Первоклассная пара, подумал Филд.

Мириам вернулась в половине двенадцатого. Мать уже спала, но сапожник встал и, отыскав ошупью халат, вышел на кухню; там он с удивлением увидел, что Мириам сидит и читает.

— Так куда же вы ходили? — ласково спросил Филд.

— Гуляли, — ответила она, не подымая глаз.

— Да, я сам ему посоветовал, — начал Филд и откашлялся, — сказал, чтоб он не тратил деньги зря.

— А мне все равно.

Сапожник вскипятит чай и, положив толстый ломтик лимона в полную чашку, сел к столу.

— Ну и как тебе понравилось? — спросил он, отпив глоток.

— Да ничего.

Он помолчал. Наверно, она почувствовала, как он разочарован, потому что добавила:

— Разве человека узнаешь с первой встречи?

— А ты с ним будешь встречаться?

Она перевернула страницу и сказала, что Макс просил ее встретиться с ним опять.

— А когда?

— В субботу.

— И что ты ему сказала?

— Что сказала? — Она ответила не сразу. — Сказала: хорошо.

Потом она спросила, как Собель, и Филд, сам не зная почему, ответил, что тот нашел другую работу. Мириам ничего не сказала и продолжала читать. Совесть не мучила сапожника: он был доволен, что они встретятся в субботу.

За эту неделю ему удалось выпросить Мириам о Максе — он осторожно задавал наводящие вопросы. Его удивило, что Макс учится не на доктора и не на адвоката, а проходит специальный курс, дающий диплом экономиста. Филд считал, что экономисты — это все равно что бухгалтеры, и предпочел бы более «культурную» профессию. Но вскоре он подробно разузнал об этой профессии, убедился, что экономисты с высшим образованием пользуются всеобщим уважением, и, успокоившись, ждал субботнего вечера. Но суббота — день занятой, поэтому он задержался в мастерской и не видел Макса, когда тот зашел за Мириам. От жены он узнал, что ничего особенного при встрече не произошло. Макс позвонил, Мириам взяла пальто и ушла с ним — вот и все. Филд ни о чем допытываться не стал — его жена наблюдательностью не отличалась. Спать он не лег и дремал сидя, с газетой на коленях, почти не заглядывая в нее, настолько он ушел в раздумье о будущем. Он очнулся, когда дочь пришла, — она стояла перед ним, устало снимая шляпку, и, только поздоровавшись с ней, он вдруг неизвестно отчего испугался и не спросил, как прошел вечер. Но когда она ничего не сказала, ему все же пришлось самому спросить,

весело ли ей было. Сначала Мириам произнесла какие-то ничего не значащие слова, но вдруг передумала и, помолчав, сказала:

— Мне с ним было скучно.

Не сразу переборов острое чувство разочарования, Филд спросил, почему скучно, и она, не задумываясь, ответила:

— Потому что он материалист, и больше ничего!

— Что это значит — материалист?

— Души в нем нет. Он интересуется только вещами.

Филд долго обдумывал, что это значит, потом спросил:

— Но ты с ним будешь видеться?

— А он меня не просил.

— А если попросит?

— Нет, не буду.

Спорить с ней он не стал. Но проходили дни, и он все больше надеялся, что она передумает. Хоть бы Макс позвонил, думал он, в уверенности, что Мириам просто по неопытности не разобралась в нем. Но Макс не звонил. Более того — он теперь ходил в колледж по другой дороге, минуя мастерскую, и Филд был глубоко обижен.

Но однажды к вечеру Макс зашел и спросил свои башмаки. Сапожник снял их с полки — он поставил их туда отдельно от другой обуви. Чинил их он сам, подметки и каблуки были пригнаны крепко и ладно. Башмаки были начищены до блеска и выглядели совсем как новые. У Макса дрогнул кадык, когда он их увидел, и потускнели глаза.

— Сколько с меня? — спросил он, не глядя на сапожника.

— Я же вам уже говорил, сколько, — печально сказал сапожник. — Один доллар и пятьдесят центов.

Макс подал ему две смятые бумажки и получил новенькую монетку — полдоллара серебром.

Он ушел. О Мириам не было сказано ни слова. В этот вечер сапожник обнаружил, что новый помощник все время его обкрадывает, и у него сделался сердечный припадок.

Хотя припадок был и не очень серьезный, но Филд три недели пролежал дома. Мириам сказала, что надо бы пойти за Собелем, но при всей своей слабости Филд гневно отверг эту мысль. Однако в глубине души он понимал, что другого выхода нет, и в первый же день, замотавшись в мастерской до одури, он убедился в этом окончательно и в тот же вечер, после ужина, устало поплелся на квартиру к Собею.

С трудом поднявшись по лестнице и зная, что ему это вредно, он постучал в дверь на верхнем этаже. Собель открыл ему, и сапожник вошел. Комнатка была маленькая, бедная, единственное окно выходило на улицу. В комнате стояла узкая койка, невысокий стол, прямо на полу у стены лежали как попало стопки книжек, и Филд подумал: как странно, что Собель человек необразованный, а так много читает. Однажды он его спросил: «Собель, и зачем вы так много читаете?» — и подмастерье ничего не мог ответить. «А вы где-нибудь учились, в каком-нибудь колледже?» — спросил он, но Собель только покрутил головой. «Читаю, чтобы знать», — сказал он. «Что знать?» — спросил сапожник, — зачем знать?» Но это-

го Собель ему не объяснил — верное доказательство того, что читает он, потому что чудак.

Филд сел, он задыхался. Собель сидел на кровати, прислонясь широкой спиной к стене. На нем была чистая рубаша и чистые штаны, короткопалые руки, отдохнувшие от колодки, казались до странности белыми. Он исхудал лицом, побледнел, словно не выходил из комнаты с того дня, как убежал из мастерской.

— Ну, так когда вы вернетесь на работу? — спросил Филд.

И к его величайшему удивлению, Собель крикнул:

— Никогда! — И, вскочив с кровати, шагнул к окну, выходящему на жалкую улочку. — Зачем мне возвращаться? — закричал он.

— Я вам прибавлю жалованья.

— А кому оно нужно, ваше жалованье!

Сапожник растерялся, он понимал, что не в жалованье дело, и не знал, что сказать.

— Так чего же вы от меня хотите, Собель?

— Ничего!

— Я же с вами обращался, как с родным сыном!

Собель с силой замотал головой:

— Так почему вы подбираете чужих, прямо с улицы, знакомите их с Мириам, почему вы обо мне не подумали?

У сапожника отнялись руки и ноги. Он сразу осип и ни слова выговорить не мог. Наконец, откашлявшись, он прохрипел:

— А при чем тут моя дочка, какое ей дело до сапожника, до моего подмастерья, тридцатипятилетнего человека, хоть он на меня и работает?

— А почему я на вас работал? — закричал Собель. — Думаете, я отдал пять лет жизни за ваши несчастные гроши, работал на вас, чтоб у вас было что кушать и где спать, да, за это?

— А за что? — закричал Филд.

— За Мириам, — выпалил Собель, — за нее...

Наступила тишина, потом сапожник выговорил с трудом:

— За работу деньгами платят, Собель, деньгами, — и замолчал.

И хотя в нем все кипело, мысли шли ясные и холодные: он не мог не признаться себе, что давно подзревал, что творится в душе Собеля. Не отдавая себе отчета, он подсознательно, со страхом все давно понял.

— А Мириам знает? — хрипло спросил он.

— Знает.

— Вы ей сами сказали?

— Нет.

— Так откуда она знает?

— Откуда знает? — переспросил Собель. — Знает — и все. Знает, кто я, знает, что у меня на душе.

Филд вдруг словно прозрел. Какими-то хитрыми путями, через свои книжки, через записи, Собель дал понять Мириам, что он ее любит. В сапожнике вспыхнул страшный гнев — как его обманули!

— Собель, вы сумасшедший! — сказал он с горечью. — Никогда она за вас не выйдет — за такого старика, такого уroda.

От гнева Собель весь почернел. Он стал осыпать сапожника проклятиями, но вдруг, как он ни удерживался, из глаз его хлынули слезы, и он глухо за-

рыдал. Он повернулся спиной к Филду, встал у окна, сжав кулаки, и плечи у него затряслись от сдавленных рыданий.

Сапожник смотрел на него, и его гнев убывал. От жалости у него заняло внутри, слезы выступили на глаза. Как странно, как горько, что беженец, взрослый мужчина, полысевший и состарившийся от несчастий, чудом спасшийся от гитлеровских крематориев, вдруг тут, в Америке, влюбился в девочку вдвое моложе себя. И целых пять лет, изо дня в день, он сидел над сапожной колодкой, орудуя ножницами и молотком, не умея высказать словами то, что лежало на сердце, не зная ничего, кроме упрямой безнадёжности, и ждал, пока девочка вырастет.

— Нет, уродом я вас не считаю, — негромко сказал Филд.

Но он понимал, что не Собеля он назвал уродом — уродливой станет жизнь Мириам, если она за него выйдет замуж. Странная, пронзительная боль за дочку охватила его, как будто она уже стала женой Собеля, женой всего лишь какого-то сапожника, и жизнь у нее сделалась похожей на жизнь ее матери. Значит, и все его мечты, все, ради чего он трудился, надрывая сердце тревогой и непосильной работой, — все мечты о лучшей жизни для нее пойдут прахом.

В комнате стало тихо. Собель у окна углубился в какую-то книгу, и, когда он читал, он казался совсем молодым.

— Ведь ей всего девятнадцать лет, — запинаясь, проговорил Филд, — слишком она молодая, чтобы выходить замуж. Подождите хоть два года, пусть

ей будет двадцать один, тогда вы с ней поговорите.

Собель не ответил. Филд встал и вышел. Медленно спускался он по лестнице, но, выйдя на улицу, несмотря на пронзительный холод и выбеленную снегом мостовую, пошел уверенным, крепким шагом.

А на следующее утро, когда сапожник с тяжелым сердцем пришел открывать мастерскую, он увидел, что ему не надо было вставать так рано, потому что его подмастерье уже сидел над колодкой, выколачивая себе право на любовь.

Хотя он старался об этом не думать, жизнь для Томми Кастелло к двадцати девяти годам стала скучной до одури. И дело было не только в Розе или в лавчонке, которую они держали ради грошовых прибылей, не в невыносимо нудных часах, которые он проводил, торгуя леденцами, сигаретами и содовой водой, не в бесконечной тягомотине разговоров — дело было в тошнотворном ощущении, что он попал в капкан, что он сам наделал много ошибок, еще до того, как Роза перекрестила его из Тони в Томми. Когда его звали Тони, он еще мальчишкой мечтал, строил планы, как удрать из этого трущобного, кишмя кишашего детворой квартала, от этой гнусной нищеты, но все обернулось против него, прежде чем он смог хоть что-то осуществить. В шестнадцать лет он ушел из ремесленного училища, где его учили на сапожника, и начал шляться с шайкой ребят — серые шляпы, башмаки на каучуке, времени и денег хоть залейся, — они показывали толстые пачки долларов в погребках — гляди, кто хочет, и все выпучивали на них глаза. Это они купили серебряную кофеварку эспрессо, а потом и телевизор, это они устраивали в подвальчике вечеринки, жарили там пиццы и приводили девчонок, это из-за них, из-за поездок в их машинах, из-за попытки ограбить винную лавку у Тони начались неприятности. К счастью для него, хозяин их квартиры, торговавший углем и льдом, знал главного заправилу района, и все уладил, так

что Тони никто не тронул. Но не успел он опомниться после этой заварухи, перепугавшей его до смерти, как его отец стакнулся с папашей Розы Аньелло, и они решили, что Тони должен жениться на Розе, а теть из своих сбережений откроеет для него лавчонку — пусть честно зарабатывает на хлеб. Но ему и плюнуть на такую лавчонку не хотелось, да и Роза была не по его вкусу — некрасивая, тощая как цыпленок. Поэтому он удрал в Техас и шатался по его неуютным просторам, а когда вернулся домой, все стали говорить, что он вернулся из-за Розы и бакалейной лавочки, и все началось сначала, а он не стал противиться и попал в эту западню.

Так он и застрял на Принс-стрит в Гринич-вилледж, трудился каждый день с восьми утра почти до полуночи, с перерывом на час, когда он подымался к себе наверх, поспать. По вторникам, когда лавка была закрыта, он спал дольше и вечером ходил один в кино. Обычно он так уставал, что ни о чем думать не мог, но однажды он попробовал подработать на стороне: тайно поставил у себя рулетку — их раздавали в районе какие-то деляги, — получал неплохие проценты и заработал пятьдесят пять долларов, о которых ничего не сказал Розе. Но деляг разоблачили в газетах, и все рулетки исчезли. Другой раз, когда Роза гостила у матери, он рискнул и дал поставить у себя лотерейный автомат; если подержать его подольше, то и на нем можно было заработать малую толику. Конечно, он знал, что от Розы автомат не скроешь, и, когда она вернулась и, увидев машину, подняла визг, он не стал орать на нее, как обычно, когда она визжала, а терпеливо и тихо объяснил ей, что это вовсе не только лотерея, потому что

тот, кто бросит монетку, получает в придачу пакетик мятных лепешек. Кстати, на этом деле они смогут заработать немножко денег и купить телевизор, а тогда ему не надо будет ходить в бар смотреть всякие матчи. Но Роза визжала как зарезанная, а тут еще пришел ее отец, заорал, что Томми — преступник, и разбил автомат железным молотком. На следующий день полиция сделала обыск, ища лотерейные автоматы, и, хотя лавка Томми была единственной в районе, где автомата не нашли, он еще долго вспоминал о машине с сожалением.

По утрам он чувствовал себя лучше всего, потому что Роза убирала наверху, до полудня покупателей бывало немного, и он сидел в одиночестве, жуя зубочистку, просматривал «Ньюз» и «Миррор» у фонтанчика с содовой, а если случайно кто-нибудь из старых дружков по клубу в подвальчике забежал за пачкой сигарет, они говорили про лошадей в сегодняшнем заезде или про вчерашнюю выплату. Но чаще он сидел один, попивал кофе и думал, куда бы он мог удрать на те пятьдесят пять долларов, спрятанных в погребе. Так он обычно проводил утро, но после истории с автоматом все дни словно протухли да и он сам тоже. Время медленно загнивало в его душе, и все утро он только и думал, когда можно будет пойти поспать. После сна он кисло вспоминал, что у него впереди бесконечный вечер в лавке, а другие люди делают, что их душе угодно. Он проклинал свою жизнь, несчастную с самого рождения.

В одно из таких гнусных утр в лавку зашла десятилетняя девочка, жившая за углом, и спросила два рулона цветной бумаги — красный и желтый. Ему хотелось послать ее к чертям — пусть сюда не шляет-

ся, но вместо того он неохотно пошел в глубь лавки, куда Роза прятала эту бумагу — тоже выдумала, дура. Привычными движениями он достал бумагу — девочка приходила за ней уже с осени, каждый понедельник; ее мать, женщина с таким каменным лицом, словно она сама уничтожила мужа, чтобы стать вдовой, присматривала за группой малышей после школы и давала им вырезать из цветной бумаги кукол и всякие штуки. Девочка (имени ее он не знал) походила на мать, только черты лица у нее были более расплывчаты, а кожа, при очень темных глазах, совсем светлая — некрасивая девчонка, а годам к двадцати, наверно, станет и вовсе уродкой. Томми заметил, что она всегда оставалась у прилавка, когда он уходил в глубину лавки, — видно, боялась идти туда, где было темновато, хотя там у него лежали комиксы и других ребят приходилось отгонять, чтоб не хватали книжки. А когда он выносил ей бумагу, лицо у нее становилось бледнее, а глаза блестели. Она всегда давала ему два потных медяка и уходила не оборачиваясь.

Случилось так, что Роза, никому не доверявшая, повесила зеркальце на задней стене лавки, и в этот понедельник Томми — настроение у него было отвратительное, — доставая из ящика бумагу для девчонки, нечаянно посмотрел в зеркальце, и ему показалось, что он видит сон. Девочка исчезла, но он видел, как белая рука тянет из витрины с конфетами одну шоколадку, за ней вторую, потом девочка вынырнула из-за прилавка и с невинным видом стала его дожидаться. Сначала он хотел схватить ее за шиворот и трясти, пока ее не стошнит, но тут он вдруг без всякой связи вспомнил, как его дядя Дом, дав-

ным-давно, еще до своего отъезда, брал с собой маленького Тони, одного из всех ребят, на ловлю крабов в залив Шипсхед. Однажды они поехали туда ночью и забросили в воду проволочные ловушки с приманкой, а когда они их вытащили, в одной сидел огромный зеленый омар. Но тут подошел толстомордый полисмен и сказал, что, если в омаре меньше девяти дюймов, надо бросить его в воду. Дом сказал, что в нем девять есть наверняка; но полисмен сказал — поменьше умничай, и Дом промерил омара, а в нем оказалось целых десять дюймов, и они всю ночь хохотали над этим омаром. Тони вспомнил, как он горевал, когда дядя Дом уехал, и слезы выступили у него на глазах. Он вдруг подумал — во что превратилась его жизнь, и подумал про девчонку, и ему стало жалко, что она такая маленькая — и уже воровка. Он чувствовал, что надо бы чем-то ей помочь, предостеречь, — пусть бросит, пока ее не поймали, не исковеркали ей жизнь в самом начале. Ему страшно хотелось сказать ей все, но, когда он вышел к прилавку, она испуганно посмотрела на него — почему он там задержался? Он смутился при виде этих испуганных глаз и ничего не сказал. Она сунула ему монетки, схватила бумагу и убежала из лавки.

У него подкосились ноги. Пришлось сесть. Он хотел убедить себя, что незачем с ней разговаривать, но не мог отвязаться от мысли, что поговорить с ней необходимо. Он спрашивал себя — ну и что? Ворует конфеты, и пусть ворует, да и роль проповедника добра была ему чужда и неприятна. И все же он никак не мог себя убедить, что ему нечего вмешиваться, что он зря считает это своей обязанностью. Но он совершенно не знал, что ей сказать. Обычно он с тру-

дѣм подбирая слова, вечно заикался, особенно когда случалось что-нибудь неожиданное. Он боялся, что заговорит как малохольный, и она его всерьез не примет. Нет, он должен поговорить с ней строго, определенно, и если она даже перепугается, она поймет, что ей хотят добра. Он никому ничего не рассказывал, но часто думал о ней и, когда выходил мыть окошко или поднимать штору, оглядывался на девчонку, играющих на улице, — нет ли ее среди них, но ни разу ее не видел. В понедельник, через час после открытия лавки, он уже выкурил целую пачку сигарет: ему казалось, будто он нашел, что ей сказать, и теперь почему-то боялся, что девчонка не придет. А может быть, она и побоится взять шоколадку. Он не знал — кстати это будет или некстати, настолько ему хотелось выложить ей все, что он считал нужным. И в одиннадцать часов, когда он читал «Ньюз», она появилась, спросила цветную бумагу и глаза у нее так блестели, что он отвернулся. Он понял, что она опять собирается что-то украсть. Уйдя в глубь лавки, он медленно открыл ящик, наклонив голову, украдкой поглядел в зеркало и увидел, как она скользнула под прилавок. У него заколотилось сердце, ноги словно гвоздями прибило к полу. Он старался вспомнить, что он собирался сделать, но его сознание походило на темную пустую комнату, и в конце концов он дал девчонке уйти, как всегда, и ее медяки жгли ему ладонь.

Потом он объяснил себе, что не заговорил с ней, потому что шоколадки были уже у нее, и она перепугалась бы куда больше, чем он того хотел. Поднявшись наверх, он не лег, а усевшись у кухонного окна, стал смотреть на задний двор. Он ругал себя мям-

лей, размазней, но потом подумал — нет, надо сделать иначе. Он все сделает деликатно. Он придумал, как он ей намекнет, и, уж конечно, это ее остановит. А потом, когда-нибудь, он ей объяснит, как здорово, что она вовремя остановилась.

В следующий понедельник он все убрал с подносика, откуда она таскала шоколадки, — теперь она наверняка поймет, что он все знает. Но она, как видно, ничего не поняла, только рука у нее нерешительно задержалась, а потом схватила два пакетика леденцов с другого подноса и опустила их в черную клеенчатую сумку, которая всегда была при ней. На следующий раз он убрал все и с верхней полки, но она, очевидно, ничего не подозревала, а просто потянулась к другой полке и опять что-то стащила. В один из понедельников он нарочно положил мелочь — серебро и медяки на поднос с конфетами, но она не взяла ничего, кроме конфет, и его это как-то обеспокоило. Роза все приставала, чего он ходит такой скучный и почему стал есть столько шоколаду. Он ей не отвечал, и она с подозрением поглядывала на покупательниц, не исключая и маленьких девочек. Он с удовольствием дал бы ей в зубы, но все это было неважно, лишь бы она не знала, что его мучает.

А он неотвязно думал — надо что-то сделать, и поскорее, не то девчонке будет все трудней отвыкнуть от воровства. Придется решительно вмешаться. И он придумал план, который ему показался самым верным. Он оставит на подносе только две шоколадки, и в одной, под обертку, засунет записочку — пусть прочтет, когда останется одна. Он исписал не один листок бумаги, составляя записку, и, наконец, выбрав текст, показавшийся ему лучше всех, переписал его

отчетливыми печатными буквами на кусочке картона и сунул под обертку шоколадки. Там стояло: «Не делай этого, иначе тебе всю жизнь будет плохо». Он долго думал, как подписать: «Друг» или «Твой друг» — и в конце концов выбрал: «Твой друг».

Было это в пятницу, и он еле дождался понедельника. Но в этот понедельник она не пришла. Он долго ждал, но тут спустилась вниз Роза, и ему пришлось уйти наверх. А девчонки все не было. Он был страшно разочарован — ведь она никогда до сих пор не пропускала своего дня. Он лег на кровать в башмаках и уставился в потолок. Было обидно, что она оставила его в дураках, а сама теперь, наверно, обжужливает еще кого-нибудь. И чем больше он об этом думал, тем горше становилось на душе. У него дико разболелась голова, он никак не мог уснуть, потом вдруг заснул и проснулся без головной боли. Но проснулся он в мрачном настроении, в тоске. Он подумал о дяде Доме — тот уже давно вышел из тюрьмы и уехал бог знает куда. Интересно, встретятся ли они где-нибудь, если он возьмет те пятьдесят пять долларов и смоемся? Потом он вспомнил, что Дом, наверно, уже совсем старик, может, и не узнает его, когда встретит. Он стал думать о жизни. Никогда не бывает так, как хочется. Старайся не старайся, все равно наделаешь ошибок, и никак от них не избавишься. Ни неба не увидишь, ни океана, потому что ты в тюрьме, только никто ее тюрьмой не зовет, а назовешь — никто не поймет, о чем ты, или притворится, что не понимает. Тоска его одолела. Он лежал, не двигаясь, ни о ком не думая, никого не жалея — ни себя, ни других.

Спускаясь вниз, он с насмешкой подумал, почему

это Роза так долго его не хватилась, не изругала, но вдруг услышал, что в лавке полно народу и Роза визжит как недорезанная. Протолкавшись через толпу, он с отвращением увидел, что она поймала девчонку с шоколадками и трясет ее так, что у той голова мотается во все стороны, как шар на веревочке. Выругавшись, он отшвырнул Розу от девчонки — у той на лице был смертельный ужас.

— Ты что, убить ее хочешь? — крикнул он Розе.

— Она воровка! — завопила Роза.

— Заткнись!

И он ударил ее по губам — иначе не остановить этот визг, но ударил сильнее, чем хотел. Роза ахнула и отшатнулась. Она даже не заплакала — обалдело глядя на толпу, она попыталась улыбнуться, и все видели, что у нее на зубах кровь.

— Ступай домой! — приказал Томми девчонке, но толпа у дверей расступилась, и в лавку вошла ее мать.

— Что случилось? — спросила она.

— Она мои конфеты крада! — завопила Роза.

— Я ей разрешил, — сказал Томми.

Роза выпучила на него глаза, словно он опять ее ударил, и, скривив губы, заплакала.

— Одну тебе, мама, — сказала девочка.

Мать с размаху ударила ее по лицу.

— Ах ты, воровка, я тебе все руки оборву!

Она крепко схватила девчонку за руку и дернула за собой. Девочка метнулась, словно в танце, не то падая, не то убегая, но у дверей ухитрилась обернуться к Томми и высунуть длинный красный язык.



Последний из могикан

Решив, что художник из него все равно не выйдет, Фидельман приехал в Италию — писать исследование о Джотто. Первую главу он вез через океан в новеньком портфеле из свиной кожи — сейчас он крепко держал этот портфель в потной руке. Все на нем было новое: темно-красные туфли на каучуке, теплый твидовый костюм, хотя позднее сентябрьское солнце косыми лучами палило с римского неба, и в чемодане лежал совсем легкий костюм, дакроновая рубашка и хлопчатобумажное с дакроном белье — такое легко и быстро стирать в путешествиях. Чемодан, старый и тяжелый, с двумя ремнями, немного смущавший его, он одолжил у своей сестры Бесси. Он решил, что к концу года, если останутся деньги, он купит новый чемодан во Флоренции. Хотя уехал он из Штатов в неважном настроении, в Неаполе он стал бодрее, а теперь, простояв перед римским вокзалом минут двадцать, он все еще был поглощен созерцанием Вечного города, все еще чувствовал восторг, охвативший его в ту минуту, как он впервые увидел, что прямо за кишашей машинами площадью стоят развалины терм Диоклетиана. Фидельман вспомнил, что он читал, будто термы перестраивались при участии Микеланджело и сначала были церковью и монастырем, а позже стали музеем, действующим до сих пор.

— Только вообразить себе, — пробормотал он, — только вообразить — сама история...

Но тут перед ним внезапно возник его собственный образ: не без горькой радости он как бы увидел себя извне и изнутри, до мельчайших подробностей, и, когда перед ним встало его собственное, столь знакомое лицо, он мысленно залюбовался и глубиной искреннего чувства в глазах, слегка увеличенных очками и чуткостью тонких овальных ноздрей и неспокойных губ, отделенных от носа недавно опущенными усиками, — по мнению Фидельмана, они были словно вылеплены скульптором и придавали ему еще больше достоинства, несмотря на небольшой рост. Но в тот же миг это неожиданное острое ощущение себя самого — и не только внешнее — вдруг поблекло, весь восторг, как ему и полагалось, испарился, и Фидельман понял, что существовала внешняя причина этого странного, почти трехмерного отражения его самого, которое он только что ощутил и увидел. Справа, недалеко от себя, он заметил незнакомого человека — скелет, чуть обросший мясом. Прислонившись к бронзовому, на каменном постаменте памятнику, изображавшему этрусскую волчицу с прильнувшими к ее тяжелым сосцам младенцами — Ромулом и Рэмом, незнакомец наблюдал за Фидельманом с таким собственническим видом, что было ясно: уже давно, должно быть с той минуты, как приезжий вышел из поезда, он весь целиком, с ног до головы, отразился во взгляде этого человека. Поглядывая на него исподтишка и делая вид, что не смотрит, Фидельман увидел личность примерно своего роста, странно одетую в короткие коричневые брючки и длинные, до колен, черные шерстяные носки, натянутые на слегка кривые, палкообразные ноги, в маленьких, остроносых, дырчатых башмаках. По-

желтевшая рубаха была раскрыта на впалой груди, рукава подвернуты, открывая худые волосатые руки. Высокий лоб незнакомца был бронзового цвета, густые черные волосы, отброшенные назад, открывали небольшие уши, на бритом лице темнела густая щетина, а его нос с загнутым кончиком явно мог пронюхать что угодно. Но заметнее всего было выражение мягких карих глаз — такая жадность горела в них. И хотя лицо у него было самое смиренное, он только что не облизывался, подходя к бывшему художнику.

— Шолом! * — приветствовал он приезжего.

— Шолом, — нерешительно ответил тот, произнося это слово, насколько он помнил, впервые в жизни О боже! — подумал. — Хорош подарочек! Первый привет в Риме — и надо же! — такое местечковое чучело.

Незнакомец, улыбаясь, протянул руку.

— Зускинд, — сказал он, — Шимон Зускинд.

— Артур Фидельман. — Переложив портфель из правой руки в левую и придерживая ногой поставленный на землю чемодан, он пожал руку Зускинду.

Носильщик в синем комбинезоне мимоходом взглянул на чемодан Фидельмана, потом на него и отошел в сторону.

Нарочно или нечаянно, но Зускинд потирал руки, словно чего-то дожидался.

— Parla italiano? **

— Говорю, но с трудом, хотя читаю бегло. Можно сказать, мне нужна практика.

* Привет (*евр.*).

** Говорите по-итальянски? (*итал.*).

— Значит, идишь?

— Мне легче всего выражать мысли по-английски.

— По-английски так по-английски. — Зускинд заговорил по-английски с легким великобританским акцентом. — Но я сразу угадал, что вы еврей, — добавил он, — только положил на вас глаз — все стало ясно.

Фидельман предпочел пренебречь этим замечанием.

— Где вы научились английскому? — спросил он.

— В Израиле.

Фидельман заинтересовался:

— Вы там живете?

— Раньше жил, а теперь нет, — уклончиво сказал Зускинд. У него сразу стал скучающий вид.

— Как так?

Зускинд передернул плечом.

— Для моего слабого здоровья там слишком тяжелая работа. А потом, это вечное напряжение.

Фидельман понимающе кивнул.

— И кроме того, от этой пустыни у меня запор. В Риме у меня на сердце легче.

— Еврейский беженец, и откуда — из Израиля! — добродушно пошутил Фидельман.

— Я вечный беженец, — невесело вздохнул Зускинд. По нему не скажешь, что у него легко на сердце.

— Откуда же вы еще бежали, разрешите узнать?

— Как это — откуда еще? Из Германии, из Венгрии, из Польши — вам этого мало?

— Ну, это, наверно, было давно, — Фидельман только сейчас заметил седину в волосах у беженца. — Пожалуй, пора идти, — сказал он и поднял чемодан. Два носильщика нерешительно остановились неподалеку.

Но Зускинд хотел услужить:

— А гостиница у вас есть?

— Да, давно выбрал и зарезервировал.

— Вы сюда надолго?

Какое ему дело? Но Фидельман вежливо ответил:

— На две недели — в Риме, дальше, до конца года, — во Флоренцию, с поездками в Сиену, Ассизи, Падую, а может быть, и в Венецию.

— Но вам нужен гид в Риме?

— А разве вы гид?

— Почему бы и нет?

— Спасибо, — сказал Фидельман, — я сам разберусь, похожу по музеям, библиотекам и так далее.

Зускинд насторожился:

— Вы что, профессор?

Фидельман невольно покраснел:

— Ну, не совсем, — скорее, так сказать, студент.

— А из какого института?

Фидельман откашлялся.

— Видите ли, я, так сказать, вечный студент. Вроде чеховского Трофимова. Если есть чему поучиться — я учусь.

— Так у вас есть задание? — настаивал Зускинд. — Получаете стипендию, да?

— Какая там стипендия! Деньги мне нелегко достались. Я долго работал, копил, чтобы на год

уехать в Италию. Во всем себе отказывал. Да, вы спросили про задание. Я пишу о художнике Джотто. Это был один из самых...

— Можете мне про Джотто не рассказывать, — перебил его Зускинд с ухмылкой.

— Вы изучали его творчество?

— А кто его не знает!

— Как интересно! — сказал Фидельман, скрывая раздражение. — Откуда вы его знаете?

— А вы откуда?

— Я посвятил немало времени изучению его творчества.

— Ну, а я его тоже знаю.

Надо от него избавиться, пока не поздно, подумал Фидельман. Он поставил чемодан, пошарил в кожаном кошельке, где держал мелочь. Те два носильщика с любопытством следили за ним, один вытащил из кармана сандвич, завернутый в газету, развернул и стал есть.

— Это вам, — сказал Фидельман.

Зускинд даже не взглянул на монету, опуская ее в карман штанов. Носильщики ушли.

Странные у него повадки, у этого беженца: застыл словно деревянный индеец у табачной лавки, но, видно, что вот-вот готов сорваться с места.

— Я вижу — у вас есть багаж, — сказал Зускинд неопределенно, — так, может, в этом багаже найдется лишний костюмчик? Мне бы он пригодился.

Наконец-то все выложил, подумал Фидельман с неудовольствием, но сдержался.

— У меня есть одна-единственная смена, кроме того, что на мне. Вы очень ошибаетесь, мистер Зускинд. Я не богач. Больше того, я бедный человек.

То, что на мне новое платье, ничего не значит, не обольщайтесь. Я за этот костюм еще должен своей сестре.

Зускинд посмотрел на свои короткие, потертые и поношенные штаны:

— Сколько лет я не имел нового костюма. Когда я бежал из Германии, вся моя одежда развалилась на куски. И в один прекрасный день я очутился совсем голый.

— Разве тут нет благотворительных организаций, которые могли бы вам помочь? Наверно, здешняя еврейская община помогает беженцам.

— Так эти евреи дают мне то, что они хотят, а не то, что я хочу, — с горечью сказал Зускинд. — И что они мне предлагают — обратный билет в Израиль!

— Почему вы не соглашаетесь?

— Я вам уже сказал: тут мне свободнее.

— Свобода — понятие относительное.

— Вы мне еще будете объяснять про свободу!

Все-то он знает, подумал Фидельман.

— Хорошо, тут вам свободнее, — сказал он, — но как вы живете?

В ответ Зускинд только хрипло закашлялся.

Фидельман хотел было еще что-то сказать насчет свободы, но удержался. Боже мой, да он весь день не отвяжется, если не принять мер.

— Пожалуй, мне пора в отель, — сказал он, наклоняясь за чемоданом.

Зускинд тронул его за плечо, и, когда Фидельман нетерпеливо выпрямился, Зускинд сунул ему под нос те полдоллара, что он ему выдал.

— Мы на этом оба теряем деньги.

— То есть как это?

— Сегодня дают шестьсот двадцать три лиры за доллар, но за серебро дают всего пятьсот.

— Хорошо, дайте сюда, я вам дам целый доллар, — и Фидельман быстро достал хрустящий доллар из бумажника и отдал его беженцу.

— И это все? — вздохнул Зускинд.

— Да, все! — решительно сказал Фидельман.

— Может, хотите посмотреть термы Диоклетиа-на? Там есть симпатичные римские гробики. За один доллар я вас проведу.

— Нет, спасибо! — И, кивнув на прощанье, Фидельман поднял чемодан и подтащил к обочине.

Откуда-то вынырнул носильщик, и Фидельман, колебавшись, дал ему донести чемодан через площадь, до стоянки маленьких темно-зеленых такси. Носильщик предложил донести и портфель, но Фидельман не выпускал его из рук. Он дал шоферу адрес отеля, и такси дернуло и покатилося. Наконец-то, — Фидельман облегченно вздохнул. Он увидел, что Зускинд исчез. Пронесло, подумал он. Но по дороге в отель ему все казалось, что беженец, согнувшись в три погибели, примостился сзади, на запасном колесе. Однако взглянуть назад он не решился.

Фидельман заранее заказал себе номер в недорогой гостинице, недалеко от вокзала, рядом с очень удобной конечной остановкой автобусов. Сразу, по укоренившейся привычке, он выработал жесткое расписание. Он всегда боялся терять время, как будто в этом был единственный его талант — что, разумеется, не соответствовало истине, — Фидельман знал, что он ко всему еще и очень честолюбив.

Вскоре он распределил время так, чтобы работать как можно больше. По утрам он обычно ходил в итальянские библиотеки, просматривал каталоги и архивы, читал при скверном освещении и делал подробные записи. После второго завтрака он часок дремал, потом часам к четырем, когда вновь открывались церкви и музеи, он торопился туда, со списком картин и фресок, которые ему надо было посмотреть. Хотя он и очень стремился во Флоренцию, его немного огорчало, что не все в Риме удастся посмотреть. Фидельман дал себе слово непременно вернуться сюда, если позволят финансы, может быть, к весне, и посмотреть все, что хотелось.

К вечеру он старался передохнуть, успокоить нервы. Обедал он поздно, как все римляне, с удовольствием выпивал пол-литра белого вина, выкуривал сигарету. Он любил погулять после обеда, особенно по старинным кварталам, у Тибра. Где-то он прочел, что там под ногами развалины древнего Рима. Его вдохновляло, что он, Артур Фидельман, уроженец Бронкса, ходит по всем этим историческим местам. Таинственная штука — история, и воспоминание о неведомых событиях в чем-то лежит на тебе тяжелым грузом, а в чем-то доставляет ощутимую радость. Оно тебя и возносит и угнетает — Фидельман не понимал, чем именно, и знал только, что его уносило в такие дебри, из которых ему не выбраться. Может быть, творческому человеку, художнику, такие переживания шли на пользу, но критику они не нужны. Критик, думал Фидельман, должен жить черным хлебом фактов. Он без конца бродил по извилистым берегам реки, глядя в усеянное звездами небо. Однажды, просидев несколько дней в музее

Ватикана, он увидел сонмы ангелов — синих, белых, золотых, тающих в небесах. Бог мой, подумал Фидельман, нельзя так переутомлять глаза. Но, вернувшись к себе, он иногда писал до полуночи.

Как-то поздно вечером, через неделю после приезда в Рим, когда Фидельман делал заметки о византийской мозаике, которую он смотрел в этот день, в дверь постучали, и хотя молодому исследователю, погруженному в работу, показалось, что он не говорил «*avanti*», но, как видно, он ошибся, потому что дверь открылась и вместо ангела явился Зускинд в рубашке и мешковатых брючках.

Фидельман, уже почти забывший о беженце — во всяком случае, он ни разу о нем не вспомнил, — удивленно привстал.

— Зускинд! — воскликнул он. — Как вы сюда попали?

Зускинд стоял, не двигаясь, потом ответил с усталой усмешкой:

— Говоря откровенно, я знаком с портье.

— Но как вы узнали, где я живу?

— Увидел вас на улице и пошел за вами следом.

— Вы хотите сказать, что встретили меня случайно?

— А как еще? Или вы мне оставили свой адрес?

Фидельман снова уселся в кресло:

— Чем могу служить, Зускинд? — Голос у него был суровый.

Беженец откашлялся.

— Профессор, днем еще тепло, но ночью уже холодно. Вы видите, как я хожу — я же голый!

Он протянул синеватые руки, покрытые пупырышками гусяной кожи.

— Вот я и пришел вас спросить: может, вы передумали насчет вашего старого костюма, может, вы мне его отдадите?

— Кто вам сказал, что костюм старый? — Голос у Фидельмана помимо воли стал грубым.

— Раз один костюм новый, так значит другой — старый.

— Не обязательно. Вот что, Зускинд, костюма для вас у меня нет. Тот, что висит в шкафу, я носил не больше года, и раздаривать такие вещи мне не по средствам. А кроме того, он габардиновый, почти что летний.

— Мне он сгодится на все сезоны.

Подумав, Фидельман вынул бумажник и отсчитал четыре доллара. Он подал их Зускинду.

— Купите себе теплый свитер.

Зускинд тоже пересчитал деньги.

— Если уже четыре, — сказал он, — так почему не пять?

Фидельман вспыхнул. Вот нахальство!

— Потому что я могу дать только четыре, — ответил он. — Это две тысячи пятьсот лир. Вам хватит на теплый свитер и еще кое-что останется.

— Мне же нужен костюм, — сказал Зускинд. — Дни еще теплые, а вот ночи уже холодные. — Он потер голые руки. — Я уже не говорю, что мне еще нужно.

— Вы бы хоть рукава опустили, если вам холодно.

— Очень мне это поможет!

— Слушайте, Зускинд, — мягко проговорил Фидельман. — Я бы с удовольствием отдал вам костюм, если бы мог себе позволить такой расход. Но я не

могу. У меня еле хватит денег, чтобы прожить тут год. Я вам уже сказал, что я до сих пор должен сестре. Почему вы не попытаетесь найти какую-нибудь работу, пусть самую черную? Я уверен, что через некоторое время вы добьетесь приличного места.

— Он говорит — работа! — мрачно пробормотал Зускинд. — А вы знаете, что значит найти работу в Италии? Кто это мне даст работу!

— А кто дает работу другим? Люди ходят, ищут.

— Ну что вы понимаете, профессор. Я гражданин Израиля, значит, я могу работать только на израильскую фирму. А сколько тут израильских фирм: от силы две — Эль Ал и Зим, а если бы у них и была работа, меня все равно не возьмут, я же потерял паспорт. Если бы я был перемещенным лицом, так было бы лучше. Перемещенное лицо получает удостоверение, а с удостоверением еще можно найти мелкую работу.

— Но если вы потеряли паспорт, почему вы не хлопотали о новом?

— Как это — не хлопотал? Да разве они дадут?

— А почему?

— Почему? Говорят, я его продал.

— И у них есть основания так думать?

— Клянусь вам жизнью — паспорт украли.

— Но как же вы живете в таком положении? — спросил Фидельман.

— Как живу? — Он щелкнул зубами. — Воздухом питаюсь.

— Нет, я серьезно.

— Серьезно, воздухом. Ну и немножко торгую, — сознался он, — но, чтоб торговать, нужна лицензия, а эти итальяшки мне лицензии не дают. Раз они меня

поймали с товаром, так я шесть месяцев просидел в исправительном лагере.

— Что же, они не пытались вас выслать?

— Как это—не пытались—пытались! Но я продал обручальное кольцо — осталось от матери, я его все годы носил в кармане. Итальянцы тоже люди. Взяли деньги, выпустили меня, только сказали: больше не торгуй.

— Что же вы делаете теперь?

— Как это — что я делаю? Торгую. А что мне, милостыню просить? Торгую себе понемножку. Так прошлой весной я вдруг заболел, и все свои жалкие гроши отдал доктору. А кашель все равно не прошел. — Он сочно откашлялся. — А теперь у меня нет капитала, не на что купить товар. Слушайте, профессор, может, мы войдем в пай? Одолжите мне двадцать тысяч лир, я закуплю дамские чулки-нейлон! А когда распродам, верну вам деньги.

— Нет у меня лишних денег, Зускинд.

— Вы же их получите назад с процентами.

— Мне вас жалко, честное слово, — сказал Фидельман. — Но почему вы не сделаете разумный шаг? Почему не обратитесь в Комиссию взаимопомощи, скажем, при Джойнте? Попросите их помочь вам. Ведь это их прямое дело.

— Сколько раз вам надо объяснять? Они хотят отправить меня обратно домой, а я хочу остаться тут.

— Я тоже думаю, что для вас самое лучшее уехать отсюда.

— Нет! — сердито крикнул Зускинд.

— Хорошо, если вы сами, по своей воле, приняли такое решение, чего же вы хотите от меня? Разве я за вас отвечаю, Зускинд?

— А кто отвечает? — крикнул Зускинд.

— Говорите, пожалуйста, потише, — сказал Фидельман, чувствуя, что его прошибает пот, — кругом люди спят. Почему это я за вас отвечаю?

— А вы знаете, что значит ответственность?

— Как будто знаю.

— Значит, вы и отвечаете. Отвечаете, потому что вы человек. Потому что вы еврей. Вы же еврей, да?

— А черт, ну положим; но я тут не единственный еврей. Я против вас ничего не имею, но отвечать за вас не желаю. Я сам по себе, я не могу взвалить на себя чужие беды. Мне и своих хватает.

Он взял бумажник и вынул еще один доллар.

— Вот вам, теперь у вас пять долларов. Хоть мне это и не по средствам, но, так и быть, берите и оставьте меня в покое. Я свою долю внес.

Зускинд стоял и молчал в странном оцепенении, как бесстрастная статуя, и Фидельман подумал: уж не собирается ли он простоять так всю ночь, но вдруг тот протянул костлявую руку, взял пятый доллар и ушел.

Назавтра Фидельман с утра пораньше переехал в другую гостиницу, гораздо менее удобную, лишь бы быть подальше от Шимона Зускинда и его бесконечных требований.

Переезжал Фидельман во вторник. А в среду, проработав все утро в библиотеке, Фидельман зашел в соседнюю тратторию и заказал порцию спагетти в томатном соусе. Он читал «Мессаджеро», предвкушая хороший завтрак, потому что здорово проголодался, когда кто-то остановился у его стола. Он поднял глаза, ожидая увидеть долгожданного официан-

та, но вместо него у стола стоял Зускинд, увы, такой же, как прежде.

Неужто мне от него не избавиться? — подумал Фидельман, рассердившись всерьез. — Для того ли я приехал в Рим?

— Шолом, профессор, — сказал Зускинд, отводя глаза в сторону, — вот, шел себе мимо, вижу — вы сидите один, я и зашел поздороваться.

— Слушайте, Зускинд, — сердито сказал Фидельман, — вы опять за мной следили?

— То есть как это я за вами следил? — удивился Зускинд. — А я знаю ваш адрес, что ли?

Фидельман слегка покраснел, но подумал: стану я ему объяснять. Раз он сам пронюхал про переезд — тем лучше.

— Ноги у меня отнимаются. Можно, я присяду хоть на пять минут?

— Сядьте.

Зускинд пододвинул себе стул. Принесли спагетти, дышащие паром. Фидельман посыпал их сыром и стал навивать на вилку длинные нежные макароны. Одна из них тянулась без конца, и он, оставившись, отправил вилку в рот. Однако он забыл отрезать длинную макаронину, и ее пришлось долго втягивать, а она никак не кончалась, к немалому смущению Фидельмана.

Зускинд наблюдал за ним с напряженным вниманием.

Наконец Фидельман дошел до конца длинной макаронины, вытер рот салфеткой и спросил:

— А вы не хотите поесть?

Глаза у Зускинда были голодные, но он по-медлил.

— Спасибо, — сказал он.

— Спасибо — да или спасибо — нет?

— Спасибо — нет. — И Зускинд ответл глаза.

Фидельман снова взялся за еду, аккуратно навивая спагетти на вилку, но, так как у него никакого навыка не было, он снова запутался в длинных макаронинах. Оттого что Зускинд не сводил с него глаз, он совсем растерялся.

— Слушайте, профессор, — сказал Зускинд, — мы же не итальянцы. Режьте их себе ножичком, легче будет кушать.

— Как хочу, так и буду есть, — оборвал его Фидельман. — Это мое дело. А вы занимайтесь своим делом.

— Моим делом? Разве у меня есть дело? — вздохнул Зускинд. — Сегодня утром я упустил такой шанс, такой редкий шанс. Была возможность купить партию дамских чулок по триста лир, были бы деньги, так я купил бы целых двенадцать дюжин. А продать можно запросто, по пятьсот. Мы бы с вами имели роскошную прибыль.

— Меня это не интересует.

— Хорошо, пусть не дамские чулки, я же могу достать свитера, шарфы, мужские носки, да мало ли что: дешевую кожаную галантерею, керамику — скажите, что вас интересует.

— Меня интересует: куда вы девали деньги, которые я вам дал на свитер?

— Знаете, какие холода наступают, профессор, — сказал Зускинд озабоченно. — Скоро ноябрь, пойдут дожди, а зимой транмонтана дует. Вот я и подумал: надо приберечь его деньги, купить пару кило каштанов, мешок угля — жаровня у меня есть. По-

сидеть день на углу — так можно заработать до тысячи лир. Знаете, как эти итальянцы любят каштаны? Но для этого мне нужно теплую одежду — лучше всего костюм.

— Ах, костюм? — саркастически переспросил Фидельман. — А почему не пальто?

— Пальто я уже имею, хоть и плохонькое, нет, мне теперь нужен костюм. Как можно показываться на люди без костюма?

У Фидельмана дрожали руки, он положил вилку.

— По-моему, вы человек абсолютно безответственный, и я не желаю иметь с вами дела. Я имею право сам решать, что мне делать, без постороннего вмешательства.

— Не волнуйтесь, профессор, это вредно для пищеварения. Кушайте на здоровье. — Зускинд встал и вышел из трагтории.

У Фидельмана пропал аппетит, он не доел спагетти. Расплатившись, он выждал минут десять, потом вышел, оглядываясь по сторонам, словно его преследовали. По крутой улице он спустился на небольшую площадь, где стояло несколько такси. И хотя ему это было не по карману, но надо было удостовериться, что Зускинд не выследит его по новому адресу. Он решил предупредить портье ни в коем случае не отвечать ни на какие вопросы, если появится человек, похожий по описанию на Зускинда.

Но тут Зускинд собственной персоной вышел из-за многоструйного затейливого фонтана посреди площади. Подойдя к опешившему Фидельману, он смиренно сказал:

— Разве я хочу только получить что-то от вас,

профессор? Если бы я хоть что-нибудь имел, я бы все вам отдал с дорогой душой.

— Спасибо! — отрезал Фидельман. — Дайте мне покой.

— Ну, уж это вы должны найти себе сами, — сказал Зускинд.

В такси Фидельман твердо решил завтра же уехать во Флоренцию, не дожидаясь конца недели, и раз и навсегда покончить с этой заразой.

В тот же вечер, возвращаясь домой после приятной прогулки по Тастевере (у него болела голова — выпил за ужином лишнее), Фидельман увидел, что дверь в его номер распахнута настежь, и сразу вспомнил, что забыл ее запереть, хотя, как всегда, оставил ключ у портье. Сначала он перепугался, но, подойдя к шкафу, где держал вещи и чемодан, увидел, что шкаф заперт. Он торопливо открыл его и с облегчением увидел, что габардиновый костюм — однобортный пиджак и слегка потертые внизу брюки (впрочем, костюм был вполне приличный и мог прослужить еще не один год), — что этот костюм висел рядом с рубашками, недавно выглаженными горничной. Проверив содержимое чемодана, Фидельман успокоился — все было цело, а главное — слава богу! — цел был паспорт и чеки. В комнате тоже все было на месте. Успокоившись, Фидельман взял книгу и, только прочитав страниц десять, спохватился: а где же портфель? Он вскочил и стал его искать везде — на тумбочке портфеля не было, а Фидельман ясно помнил, что оставил его там вечером, перечитав первую главу. Он искал под кроватью, за тумбочкой, по всей комнате, даже на шкафу и за шкафом. Уже не надеясь, Фидельман перерыл все

ящички, даже самые маленькие, но не нашел ни портфеля, ни, что гораздо хуже, рукописи первой главы.

Он со стоном повалился на кровать, кляня себя за то, что писал без копии; сколько раз он говорил себе, что может случиться такое несчастье. Но он собирался внести какие-то поправки, а уж потом перепечатать набело, перед тем как начать новую главу. Надо было бы сейчас же пожаловаться хозяину отеля — тот жил внизу, но уже давно пробило полночь, и, разумеется, до утра ничего нельзя было предпринять. Но кто мог взять портфель? Горничная? Порттье? Непохоже: неужто они рискнут потерять работу из-за кожаного портфеля, за который им дадут в ссудной лавке несколько тысяч лир? Может быть, случайный вор? Завтра же надо будет спросить: не пропало ли чего у других жильцов на его этаже? Но в этом он почему-то сомневался. Вор непременно выкинул бы рукопись и сунул бы в портфель толстые башмаки Фидельмана, стоявшие у кровати, и пятнадцатидолларовый свитер от Мэйси, лежавший на виду, у стола. Но если это не горничная, не порттье и не случайный вор, кто же тогда? И хотя не было ни малейшей улики, подтверждавшей подозрения Фидельмана, он думал только об одном человеке — о Зускинде. Мысль эта его жгла и мучила. Но почему Зускинд взял портфель? Просто со зла, что костюм, которого он так добивался, ему не отдали, а вытащить его из шкафа он не смог? Сколько Фидельман себя ни уговаривал, он упорно не мог найти другую причину, другого виновника. Каким-то образом Зускинд выследил, где он живет (должно быть, после встречи у фонтана), и влез в его комнату, когда Фидельман уходил ужинать.

Фидельман спал в эту ночь отвратительно. Ему снилось, что он преследует Зускинда в еврейских катакомбах, под древней Аппиевой дорогой, угрожая разбить голову наглецу семисвечником, очутившимся в его руках, а Зускинд — хитрый призрак, знавший все ходы и выходы из усыпальниц и галерей, — ускользает от него за каждым поворотом. Потом все свечи у Фидельмана погасли, и он остался, слепой и одинокий, в кладбищенской тьме, но, проснувшись и устало подняв штору, он увидел распухшими глазами, как желтое итальянское солнце весело подмигнуло ему.

Фидельман отложил поездку во Флоренцию. Он заявил о своей пропаже в квестуру, и, хотя полицейские разговаривали с ним вежливо и хотели помочь, они ничего сделать не смогли. Инспектор, заполняя опросный листок, оценил портфель в десять тысяч лир, а против записи — «*valore del manuscritto*» * — поставил черту. После долгих размышлений Фидельман решил не заявлять о Зускинде: во-первых, потому, что никаких доказательств у него не было, — портье клялся и божился, что никакого чужого человека в коротких брюках он не видел; во-вторых, Фидельман боялся, что Зускинду придется плохо, если его зарегистрируют «по подозрению в краже» или как «не имеющего права на торговлю», да к тому же злостного беженца. Вместо этого он решил написать свою первую главу заново — он был уверен, что знает ее наизусть, но, когда он сел за стол, много важных мыслей, целые параграфы, мало того — целые страницы, совершенно выпали из

* Цена рукописи (*итал.*).

памяти. Он подумал, не послать ли в Америку за своими заметками и черновиками, но они лежали в ящике на чердаке у его сестры в Левиттауне, среди всяких других записок и заметок. При одной мысли, что он заставит Бесси, мать пятерых детей, рыться в его вещах, отбирать нужные заметки, запаковывать их, отсылать заказным сюда, через океан, — при одной этой мысли Фидельмана охватывала непреодолимая тоска: он был уверен, что она пришлет ему не то, что надо. Он не стал дописывать письмо и вышел на улицу искать Зускинда.

Искал он его в тех местах, где Зускинд попадался ему раньше, и, хотя Фидельман тратил на поиски целые часы, иногда буквально целые дни, Зускинд нигде не появлялся, а может быть, просто скрывался при виде Фидельмана. А когда Фидельман справился о нем в израильском консульстве, клерк, человек, как видно, новый, сказал, что у них в списках нет ни такой фамилии, ни заявления об утере паспорта. С другой стороны, в Джойнте о нем знали — там была записана его фамилия и адрес; Фидельман сразу подумал, что так просто его не найдешь: ему дали номер дома и название улицы, но, конечно, дом был давным-давно снесен и на его месте строилось многоэтажное здание.

Время шло, работа стояла, все не ладилось. Что-бы положить конец этому ужасающему безделью, Фидельман пытался заставить себя снова взяться за исследования, за изучение живописи. Он выехал из гостиницы (она опротивела ему из-за неприятностей, которых он тут натерпелся; однако он оставил у портье номер телефона, с настойчивой просьбой — позвонить, если обнаружится хоть какой-нибудь след)

и переехал в небольшой пансионат, около вокзала, где он и завтракал и ужинал, предпочитая выходить из дому пореже. Его очень беспокоили расходы, и он тщательно записывал их в специально купленный блокнот. По вечерам, вместо того чтобы бродить по городу, наслаждаясь его таинственной прелестью, он упорно сидел за столом, впериw глаза в бумагу, в попытке воссоздать вступительную главу — без нее он идти дальше не мог. По своим заметкам он пытался начать вторую главу, но из этого тоже ничего не вышло. Прежде чем двинуться вперед, Фидельману всегда нужна была какая-то крепкая опора, что-то основательное, на чем можно было строить дальнейшую работу. Он просиживал за столом допоздна, но совершенно исчезло всякое настроение, вдохновение — словом, то, что нужно для работы, и остался только страх, он все усиливался, сбивал с толку: впервые за много месяцев Фидельман не знал, что ему делать дальше, — мучительное, страшное чувство.

Поэтому он снова взялся за поиски беженца. Он решил, что, если он раз навсегда установит — украл или не украл тот его рукопись, причем неважно, найдется она или нет, от одной этой уверенности он снова обретет покой и ему снова захочется работать, а это самое важное.

Изо дня в день он прочесывал людные улицы, ища Зускинда всюду, где торговали с лотков. Каждое воскресенье он с утра проделывал долгий путь на рынок Порта Портезе и часами рылся в грудах подержанных вещей и хлама, разложенных прямо на улице, надеясь, что каким-то чудом вдруг найдет там свой портфель, но портфеля нигде не было. Он хо-

дил по открытому рынку на Пьяцца Фонтанелли Боргезе, проверял всех уличных торговцев на Пьяцца Данте. Он осматривал тележки зеленщиков и фруктовощиков, попадавшихся ему на улицах, а после сумерек шатался по темным закоулкам среди попрошайек и полуночников, торговавших всякой всячиной. В конце октября, когда похолодало и торговцы жареными каштанами уже сутулились над своими жаровнями по всему городу, он вглядывался в их лица, ища среди них пропавшего Зускинда. Где же он, в каком углу древнего или нового Рима? Этот человек жил на улице — должен же он когда-нибудь попасться навстречу. Иногда в трамвае или автобусе Фидельману казалось, что в уличной толпе мелькнул кто-то, одетый, как Зускинд, и он выскакивал на первой же остановке и бежал за прохожим, кто бы он ни был; но один раз человек, стоявший перед Банко ди Санто Спирито, уже ушел, когда Фидельман подбежал туда, запыхавшись, а в другой раз хотя он и догнал человека в коротких брюках, но у того в глазу красовался монокль. Сэр Айэн Зускинд!

В ноябре пошли дожди. Фидельман носил синий берет, непромокаемое пальто и черные итальянские башмаки с острыми носами, которые с виду казались меньше, чем его толстые красно-рыжие туфли, — он их ненавидел за яркий цвет и за то, что в них было жарко ногам. Но вместо того чтобы ходить по музеям, он сидел в кино на самых дешевых местах, жалея об истраченных деньгах. Иногда он попадал в определенные кварталы, где к нему то и дело приставали проститутки. Среди них попадались прелестные лица, от которых становилось больно, и одну из

них — тоненькую, грустную девчонку с синяками под глазами — Фидельман возжелал со страстью, но он очень боялся за свое здоровье. Он уже хорошо знал Рим, говорил по-итальянски вполне бегло, но на душе у него было тяжело и в крови бурлила ненависть к кривоногому беженцу, и хотя ему иногда думалось — не ошибка ли это? — но все равно он без конца проклинал Зускинда самыми страшными проклятиями.

В одну из пятниц, к вечеру, когда первая звезда затеплилась над Тибром, Фидельман, бесцельно гуляя по левому берегу, набрел на синагогу и вошел туда, замешавшись в толпу евреев-сефардов, сильно похожих на итальянцев. Они подходили поодиночке к раковине в преддверии, подставляли руки под открытый кран, и, войдя в молельню, легко касались пальцами лба, губ и груди, и кланялись свиткам Торы. Фидельман последовал их примеру. Куда я попал? — подумал он. Три раввина встали со скамьи, началась служба, долгие молитвы то нараспев, то под звуки невидимого органа. Зускинда нигде не было. Фидельман сидел сзади, на скамье, похожей на парту, оттуда он мог видеть не только всех молящихся, но и входные двери. Синагога не топилась — от мраморного пола, словно испарение, подымался холод. У Фидельмана нос горел, как зажженная свечка, и он встал, чтобы уйти, но тут служка, коренастый человек в высокой шапке и коротком кафтане, с длинной и толстой серебряной цепью на шее, внимательно скосил на Фидельмана зоркий левый глаз.

— Из Нью-Йорка? — спросил он, торопливо подходя к Фидельману.

Половина молящихся обернулась — взглянуть, с кем он говорит.

— Из штата Нью-Йорк, но не из самого города, — ответил Фидельман, остро ощущая свою вину за то, что привлек всеобщее внимание. И, воспользовавшись паузой, шепнул служке: — Не знаете ли вы человека по имени Зускинд? Он ходит в штанах до колен.

— Родственник? — Служка посмотрел на него грустными глазами.

— Не совсем.

— У меня у самого сына убили в Адреатинских пещерах. — Слезы навернулись на глаза служки.

— О, я вам очень сочувствую.

Но служка не стал об этом распространяться. Он вытер повлажневшие веки толстыми пальцами, и любопытные сефарды опять повернулись к своим молитвенникам.

— Какой это Зускинд? — спросил служка.

— Шимон.

Служка почесал за ухом.

— Поищите в гетто.

— Искал.

Служка медленно отошел, и Фидельман потихоньку выбрался из синагоги.

Гетто начиналось прямо за синагогой — несколько кварталов тесно застроенных кривых улиц, с дряхлыми развалинами аристократических дворцов и невысшимыми трущобами, где по облупленным стенам, на веревках висело сырое линялое белье и пересохшие фонтаны на площадях были замусорены и загажены. Многоквартирные дома, выстроенные из темного камня, на остатках старинных стен, окружав-

ших гетто, кренились над булыжной мостовой узких улиц. Иногда, среди обнищавших зданий попадались оптовые склады богатых евреев, где за темной дырой входа было много дорогих товаров, серебра и разноцветных шелков. В путанице проулков бродили сегодняшние нищие, и среди них очутился Фидельман, согнувшийся под бременем истории, хотя, как он определил для себя, причастность к ней удлиняла его собственную жизнь.

От белесой луны над гетто словно стоял пасмурный день. Один раз Фидельману показалось, что он видит знакомый призрак, и он бросился за ним в проход между толстыми каменными стенами и добежал до тупика, где на пустой стене стояло: «Vietato ugnapare!» * Здесь был запах, но не было Зускинда.

За тридцать лир Фидельман купил сморщенный, почерневший банан у лоточника с велосипедом (опять же, не З.) и, остановившись, стал есть его. Вокруг него сразу собралась толпа мальчишек.

— Кто из вас знает Зускинда, беженца, он ходит в коротких штанах? — объявил Фидельман и, наклонившись, показал кончиком банана у себя под коленкой, где кончались зускиндовские брючки. Он даже сделал ноги дугой, но никто не обратил внимания.

Пока он доедал банан, все молчали, потом узколицый мальчуган с прозрачными карими глазами мурильевского ангелочка пропищал:

— Он иногда работает на Симитеро Верано в том углу, где евреев хоронят.

И туда забрался, — подумал Фидельман. — Как это работает на кладбище? Копают могилы?

* Останавливаться воспрещается (*итал.*).

— Он над мертвыми молится, — сказал мальчик, — за денежку.

Фидельман тут же купил ему банан, и остальные разбежались. В субботу на кладбище было пусто, следовало бы прийти в воскресенье, и Фидельман походил между могилами, читая надписи на камнях; медные подсвечники увенчивали надгробья, кое-где на каменных плитах увядали желтые хризантемы, и Фидельману казалось, что в день всех святых, когда в другой части кладбища шел праздник, цветы были брошены украдкой отщепенцами-детьми, которым невыносимо было смотреть на пустые, без цветов, могилы родителей в день, когда могилы гоев были все в цветах и свечах. На многих камнях Фидельман прочел имена тех, кто так или иначе стал жертвой последней войны, а над одной, по-видимому, пустой могилой под шестиконечной звездой, вырезанной на мраморной плите, стояло: «Памяти моего любимого отца, убитого нацистскими варварами в Освенциме. «O crime orribile» *.

Зускинда нигде не было.

Прошло три месяца с тех пор, как Фидельман приехал в Рим. Он много раз задавал себе вопрос: не бросить ли ему и этот город и эти дурацкие поиски? Почему бы не уехать во Флоренцию, и там, в мировой сокровищнице искусств, снова найти вдохновение для работы? Но потеря первой главы висела над ним, словно заклятие. По временам он думал об этом с пренебрежением: рукопись — дело рук чело-

* О страшное преступление (*итал.*).

веческих, значит, ее можно восстановить. Но иногда он подумывал, что дело вовсе не в самой рукописи, дело в том, что его одолевало неумное любопытство — разгадать странный характер Зускинда. Неужели он отплатил за добро тем, что украл у человека труд всей его жизни? Неужто он до такой степени исковеркан неудачами? Нет, надо добиться разгадки, необходимо понять этого человека, но сколько драгоценного времени, сколько сил уйдет на это! Часто Фидельман горько усмехался: смешно, как он горюет о потере рукописи. Но когда он вспоминал, сколько сил, сколько времени вложено в этот труд, как тщательно разработана каждая новая мысль, как продуманы все трудности композиции, как внушительен будет законченный труд — возрождение Джотто, — сердце у него болело: и как не болеть — время идет, чего же он здесь ищет?

Уверенность, что рукопись украл Зускинд, росла у Фидельмана с каждым днем — иначе зачем бы тот прятался? Фидельман часто вздыхал и все больше полнел... На конвертах писем, полученных от сестры Бесси и оставшихся без ответа, он бесцельно рисовал летящих ангелочков. Как-то, рассматривая эти миниатюрные наброски, он подумал, что, может быть, когда-нибудь он вернется к живописи, но эта мысль только отозвалась в нем невыносимой болью.

Однажды в ясное декабрьское утро, прекрасно выспавшись впервые за многие недели, Фидельман поклялся себе, что только взглянет еще раз на Навичеллу и сразу уедет во Флоренцию. Около полудня он пошел к базилике святого Петра и, глядя на мозаику, старался вспомнить по рисунку Джотто, какой

она была до многих реставраций. Неверным почерком он кое-что записал для памяти и вышел из церкви. Когда он спускался по широкой лестнице, у него вдруг остановилось сердце — неужто перед ним опять старая фреска, уж не вкрался ли еще один апостол в переполненную лодку внизу: на ступеньках — эссо! * — перед ним стоял Зускинд! В берете и длинной зеленой солдатской шинели, из-под которой выглядывали его петушиные ноги в черных чулках, — значит, под шинелью на нем по-прежнему были короткие брючки! — Зускинд продавал всем желающим черные и белые четки. В одной руке он держал длинные нити бус, на ладони другой блестели под зимним солнцем позолоченные образки. И хотя одежда на нем была другая, Зускинд, надо сказать, ничуть не изменился — не прибавилось ни веса в теле, ни крепости в мышцах, а по лицу, хоть и постаревшему, нельзя было, как и прежде, угадать возраст.

Взглянув на него, Фидельман вспомнил все и скрипнул зубами. Он хотел было спрятаться и понаблюдать за вором исподтишка. Но терпения не хватило — слишком долго он его искал. Сдерживая волнение, он подошел к Зускинду слева, но тот деловито обернулся вправо, пытаясь навязать четки какой-то женщине в глубоком трауре.

— А вот четки, бусы — молитесь по освященным четкам.

— Привет, Зускинд, — сказал Фидельман, спускаясь по лестнице дрожащими шагами, но притворяясь стойким и философом, который обрел мир

* Вот! (*итал.*).

и покой. — Ищешь вас, ищешь, а вы, оказывается, здесь. *Wie gehts?* *

Беки у Зускинда дрогнули, но, по всей видимости, он даже не удивился. Он взглянул на Фидельмана с таким выражением, будто понятия не имеет, кто его окликнул, и даже о существовании Фидельмана позабыл, а потом вдруг припомнил: да, да, какой-то иностранец, встретился с ним давным-давно, улыбнулся ему — и забыл.

— А вы все еще здесь? — с явной иронией спросил Зускинд. — Рим вас держит, что?

— Да, Рим, — забормотал Фидельман, — тут воздух... — И он сделал глубокий вдох, потом с силой выдохнул.

Но, видя, что Зускинд почти не слушает и глаза у него бегают в поисках покупателей, Фидельман набрался храбрости и сказал:

— Кстати, Зускинд, не видели ли вы случайно — да, наверно, видели, — портфель, помните, я его нес, когда мы с вами встретились в сентябре?

— Портфель — какой еще портфель? — сказал Зускинд рассеянно, следя за выходящими из собора.

— Портфель свиной кожи. А в нем... — тут у Фидельмана прервался голос, — в нем глава моего исследования о Джотто. Вы о нем, наверно, знаете — художник Треченто **.

— А кто не знает за Джотто?

— Может, вы случайно помните — не видали ли вы портфель, то есть не... не... — Он остановился,

* Как поживаете? (*евр.*).

** Эпоха, когда писал Джотто (*итал.*).

стараясь подыскать слова, которые не звучали бы обвинением.

— Извините, я занят! — Зускинд рванулся вверх по лестнице, через две ступеньки. Он подскочил к какому-то человеку, тот от него шарахнулся: нет, не надо, четки у него есть.

Фидельман побежал за Зускиндом.

— За находку — награда, — забормотал он ему на ухо, — пятнадцать тысяч лир за рукопись, кто ее найдет, пусть оставит себе портфель — новый, кожаный. Это его дело, никаких вопросов не будет. Пойдет?

Зускинд увидел туристку с фотокамерой и путеводителем.

— Четки, святые четки!

Он протянул ей обе руки, но туристка была лютеранкой и оказалась тут случайно.

— День плохой, — пожаловался Зускинд, когда они оба спускались со ступеней, — хотя, конечно, может, и товар не тот. Этим тут все торгуют. Были бы у меня большие статуэтки — керамика, святая дева, они тут пошли бы как горячие пирожки. Чудное дело! Только бы кто-нибудь вложил в это деньги.

— Вот заработаете награду, — хитро зашептал Фидельман, — и купите себе святых дев сколько угодно!

Зускинд и виду не подал — слышит он или нет. Увидев целое семейство — девять душ, — выходящее из главного портала, он метнулся наверх, крикнув через плечо «аддио!». Но Фидельман не ответил. Нет, так ты от меня не уйдешь, крыса несчастная! Выйдя на площадь, он спрятался за высоким фонтаном. Но ветер нес ему в лицо водяные брызги, пришлось отойти

за массивную колонну и оттуда выглядывать торговца четками.

В два часа дня, когда собор святого Петра закрывается для посетителей, Зускинд сунул свой товар в карман шинели и закрыл лавочку. Фидельман шел за ним следом, до его дома — он и вправду жил в гетто, в районе, где Фидельман как будто еще не был: свернув в тупик, Зускинд открыл навешенную слева дверь, и очутился прямо у себя «дома». Подкравшись поближе, Фидельман увидал каморку, вроде шкафа, где стояли кровать и стол. К его удивлению, ни на стене, ни на двери адреса не было, да и дверь явно не запиралась. Фидельман растерялся: значит, у беженца нет ничего, что могли бы украсть, то есть никакого личного имущества. Фидельман решил прийти завтра, когда хозяина не будет дома.

И он действительно вернулся на завтра утром, когда предприимчивый Зускинд ушел продавать четки, и, оглянувшись, быстро вошел в дверь. Он вздрогнул — темная ледяная нора. Фидельман зажег толстую спичку, увидел ту же кровать и стол и рядом — шаткий стул. Никаких следов отопления или освещения — только заплывшая свеча на блюдечке. Он взял эту желтую свечку и стал обыскивать каморку. В ящике стола кое-какая посуда и безопасная бритва, хотя где тут Зускинд мог бриться, было тайной — наверно, он брился в общественных уборных. Над кроватью, покрытой жиденьким одеялом, висела полка, на ней полбутылки красного вина, початая пачка спагетти и черствый хлебец. И тут же, совершенно неожиданно — крошечный аквариум с костлявой золотой рыбкой, плававшей в этом арктическом море. Поблескивая чешуей в пламени свечи,

рыбка разевала рот, помахивая холодным хвостиком перед глазами у Фидельмана. Животных любит, подумал тот. Под кроватью он обнаружил ночной горшок, но портфеля с интереснейшей первой главой исследования нигде не нашел. Наверно, кто-то разрешил Зускинду прятаться в этом погребе от дождя. Да, вздохнул Фидельман. Вернувшись в пансионат, он залег с грелкой в кровать и еле-еле отогрелся за два часа.

Но он долго не мог прийти в себя после этого посещения.

В одну из ночей Фидельману приснилось, будто он бродит весь день по кладбищу, среди надгробий, и вдруг из пустой могилы вырастает длинноносый темный призрак, и Вергилий-Зускинд манит его пальцем.

Фидельман подбежал к нему.

— Читали Толстого?

— Маловато.

— Что вы знаете за искусство? — спросил призрак, уплывая дальше.

Волей-неволей Фидельман пошел за ним, и призрак, исчезая, привел его к высокой лестнице, ведущей через гетто, в мраморную синагогу.

Оставшись в одиночестве, Фидельман, сам не понимая зачем, распростерся на каменном полу, и странное тепло охватило его плечи, когда он поднял глаза в озаренный солнцем купол. Фреска на сводах изображала знакомого святого в блеклой синеве небес, окружавшей ореолом его голову. Он протягивал золотой свой плащ старому рыцарю в худой красной одежде. Рядом смиренно стоял его конь, и вздымались каменистые холмы.

Джотто. «San Francesco dona il vesti al cavaliere povero»*.

Фидельман проснулся на бегу. Он запихнул свой синий габардиновый костюм в бумажный мешок, вскочил в автобус и ранним утром уже стучался в тяжелый портал зускиндовского палаццо.

— Avanti!

Беженец уже в берете и пальто (как видно, заменявшем ему пижаму), стоя у стола, зажигал свечу от пылающего листа бумаги. Фидельману показалось, что это страница машинописного текста. Помимо воли вся первая глава огненными буквами вспыхнула в его памяти.

— Вот вам, Зускинд, — сказал он дрожащим голосом, подавая пакет. — Принес вам свой костюм. Носите на здоровье.

Тот равнодушно взглянул на пакет.

— И что вы за него хотите?

— Ничего! — Фидельман положил пакет на стол, попрощался и вышел.

Но тут же вслед ему по булыжной мостовой загрохотали шаги.

— Извиняюсь, я все время берег для вас под матрацом вот это. — И Зускинд сунул ему портфель свиной кожи.

Фидельман рванул застежку, лихорадочно обыскал все отделения — портфель был пуст. А Зускинд уже убегал от него. С ревом Фидельман бросился за ним.

— Сволочь, ты мою рукопись сжег!

* «Святой Франциск отдает свою одежду бедному рыцарю» (итал.).

— Ой, пощадите! — закричал Зускинд. — Я же вам сделал одолжение!

— Я тебе покажу одолжение — глотку перерву!

— Там были одни слова — души нет!

В бешеной ярости Фидельман наддал изо всех сил, но Зускинд, легкий как вихрь, уже мчался впереди, и только его необыкновенные брючки мелькали из-под пальто.

Евреи из гетто, прильнув к средневековым окнам своих жилищ, в удивлении глазели на дикую погоню. Но в самом разгаре Фидельмана, толстого и запыхавшегося, вдруг озарила блестящая мысль — не зря он столько узнал за последнее время.

— Зускинд, вернитесь! — крикнул он голосом, похожим на всхлип. — Костюм ваш! Я все простил!

Он остановился как вкопанный, но Зускинд летел вперед.

Так он, видно, и бежит до сих пор.



Фидельман бесцельно исчеркал сверху донизу весь листок пожелтевшей бумаги. Странные, неразборчивые рисунки, заляпанные чернильными кляксами слова, таинственные закорючки, искореженные тела в кипящем серном озере и тут же — стилизованный нагой силуэт, выходящий из пены морской. Не так плохо, хотя это скорее манекен, чем Афродита Книдская.

Крючконосый Скарпио, сидевший с левого тощего бока бывшего студента живописи, поднял глаза от карт и покосился здоровым глазом на рисунки.

— Недурна, это кто же такая?

— Да я и сам не знаю.

— Видно, вам не повезло.

— В искусстве и не то бывает.

— Тихо! — проворчал Анджело, хозяин, сидевший у правого, вздущегося бока студента; лицо хозяина с двойным подбородком было словно вылеплено из сала. Он сбросил верхнюю карту.

Скарпио пошел с козыря, взял восьмерку и вышел. Он стал клясть пресвятую деву во все тяжкие. Анджело сопел. Фидельман выложил четверку и последние свои сто лир. Он осторожно взял туза и вздохнул. Анджело, с семеркой на руках, выбрал этот напряженный момент, чтобы сходить в уборную.

— Ждите меня! — приказал он. — Смотри за деньгами, Скарпио!

— Кого это повесили? — спросил Скарпио, глядя на фигуру в длинном пальто, болтающуюся на виселице среди других рисунков Фидельмана. Конечно, это был Зускинд — тень далекого прошлого...

— Да так, один знакомый.

— Кто такой?

— Вы его не знаете.

— То-то же!

Скарпио взял листок, прищурился и поднес поближе к глазам.

— А голова чья? — спросил он с любопытством. Длинноносая голова катилась вниз с помоста, где стояла гильотина.

Голова это или таз? — подумал Фидельман. Во всяком случае, рана выглядела страшно.

— По-моему, на меня похоже, — признался он. — Подбородок как у меня.

Скарпио ткнул пальцем в уличную сцену. На ней тоже он, этот белый негр, удирал от американского экспресса, а за ним погоня — гогочущая шайка конных ковбоев.

Смутившись при воспоминании о недавнем прошлом, Фидельман покраснел.

Уже прошло полночи. Они безвыходно сидели в душной конторе Анджемо, маленькая голая лампочка спускалась над квадратным деревянным столом, на столе — колода пухлых карт, Фидельманова сотняжка, и зеленая бутылка мюнхенского пива, из которой между ходами отхлебывал хозяин миланского Отель-де-Виль; Скарпио, его мажордом, секретарь и интимный друг попивал черный кофе, а Фидельман только смотрел на него — ему ничего не полагалось. Каждую ночь они играли в сетто э меццо, в джин

рамми или в баккара, и Фидельман проигрывал весь дневной заработок, все жалкие «на чай», которые ему давали проститутки за мелкие услуги. Анджело молча забирал все.

Скарпио хихикал, поняв, о чем напоминала эта уличная сцена: Фидельман, оставшись без гроша в каменной серости миланских улиц, впервые в жизни залез в карман к американскому туристу, глазевшему на витрину магазина. Техасец, почувствовав, как его дернули, хватился бумажника и закричал караул. Карабинер дико вылупился на Фидельмана, тот бросился бежать, второй карабинер, в парадном мундире, верхом на коне, с грохотом поскакал за ним по мостовой, размахивая саблей. Анджело, чистивший ногти карманным ножичком перед своим отелом, увидел Фидельмана, затащил его за угол и провел через погреб в свою гостиницу Отель-де-Виль, прибежище проституток, деливших свои заработки с хозяином за позволение пользоваться номерами в гостинице. Анджело занес бывшего студента живописи в список жильцов, дал ему крошечный темный номер и, погрозив револьвером, отнял у него недавно продленный паспорт и содержимое бумажника, украденного у техасца. Анджело предупредил студента, что стоит ему пикнуть — и он донесет в квестуру, которой заведует его брат, что поймал опасного международного вора. Бывший студент живописи в отчаянии пробовал бежать и, нуждаясь для этого в деньгах, забрался утром в комнату Анджело и, вытащив чемодан из-под кровати, стал горстями таскать оттуда лиры и набивать карманы. Скарпио, случайно заглянувший в комнату, застал Фидельмана врасплох и приставил кинжал к его ребрам. И хотя тот безуспешно уговаривал его,

что они оба могут отлично прожить на деньги из чемадана, дождался прихода хозяина.

— Горбатого могила исправит, — сказал Анджело и стал бить Фидельмана по щекам, сначала одной жирной рукой, потом другой, пока у Фидельмана слезы не потекли ручьем. Анджело на неделю приковал его цепью к койке в его комнате. После того как Фидельман поклялся, что он больше не будет, его отпустили и назначили «maestro delle latrine»*, заставив его за стол и квартиру ежедневно мыть жесткой щеткой тридцать уборных. Он также помогал Терезе, горничной с волосатыми ногами, которая страдала астмой, и был на побегушках у проституток. Бывший студент мечтал о побеге, но швейцар или его помощник дежурили у выхода круглые сутки. Из-за картежной игры — Фидельман был страстным картежником — он сидел без денег и все равно никуда уехать бы не мог, если бы даже ему было куда уехать. К тому же у него отняли паспорт, так что он тут и застрял.

Скарпио тайком ущипнул Фидельмана за бедро.
— Перестань, не то скажу хозяину.

Анджело вернулся и открыл карту. Дама. Семь с половиной — выигрыш. Он сунул в карман последние сто лир Фидельмана.

— Ступай спать, — распорядился он. — Завтра тяжелый день.

Фидельман поднялся на пятый этаж в свою каморку, подошел к окну, поглядел на темную улицу. Убьешься ли, если прыгнешь? Очевидно — убьешься, и он разделся и лег. Каждый вечер, а иногда и днем,

* Хозяин уборных (*итал.*).

он так выглядывал в окно. Однажды Тереза с визгом схватила его за ноги, увидев, как сильно он высунулся, и визжала до тех пор, пока клиент одной из девиц, голый, мощный мужчина, не вбежал в комнату и не втащил Фидельмана обратно.

Иногда Фидельман рыдал во сне.

Он проснулся со страху, Анджело и Скарпио вошли к нему в комнату, но не тронули его.

— Можете обыскать все, — сказал Фидельман, — ничего вам не найти, кроме куска сухой булки.

— Заткнись, — сказал Анджело, — мы пришли предложить тебе кое-что.

Фидельман медленно приподнялся в постели. Скарпио вынул желтый лист бумаги, исчерканный его рисунками.

— Мы увидели, что ты умеешь рисовать. — Он ткнул грязным ногтем в нагую фигуру.

— Немного умею, — скромно признался Фидельман. — Так, балуюсь, смотрю, что получится.

— А скопировать картину сможешь?

— Какую картину?

— Нагую натуру. Венеру Урбинскую Тициана. Подражание Джорджоне.

— Ах, эту! — Фидельман подумал. — Эту, пожалуй, не смогу.

— Да это любой дурак сможет.

— Замолчи, Скарпио, — сказал Анджело. Он тягело сел у изножья узкой койки Фидельмана.

Скарпио мрачно смотрел в окно, на безрадостную улицу.

— В Лаго Маджоре, на Изола Белла, в часе езды отсюда, — сказал Анджело, — есть маленький замок, и в нем полно дрянных картин, и только одна карти-

на — подлинный Тициан, что доказано тремя экспертами — один из них мой зять. Она стоит полмиллиона долларов, но ее собственник богаче самого Оливетти, и продавать картину не желает, хотя один американский музей давно ломает голову, как бы ее заполучить.

— Очень интересно, — сказал Фидельман.

— Вот именно. Во всяком случае, картина застрахована по крайней мере в четыреста тысяч долларов. Конечно, если ее кто-нибудь украдет, продать все равно будет невозможно.

— Так чего же возиться?

— То есть что значит — возиться?

— Нет, я вообще, — растерялся Фидельман.

— Ты лучше послушай, тогда узнаешь, — сказал Анджело. — Предположим, ее украли, спрятали и требуют выкупа. Что ты об этом думаешь?

— Выкупа? — переспросил Фидельман.

— Да, выкупа, — сказал Скарпио, стоя у окна.

— Не меньше трехсот тысяч долларов, — сказал Анджело. — Для страховой компании это прямая выгода. На такой сделке они сэкономят сто тысяч долларов.

И он изложил свой план. Они сфотографировали Тициана со всех сторон, во всех ракурсах, с разных расстояний, подобрали лучшие цветные репродукции из разных книг. У них есть точные размеры полотна и каждой отдельной фигуры на нем. Если Фидельман сумеет сделать приличную копию, они закажут дубликат рамы, темной ночью отнесут копию в картинную галерею замка и увезут оригинал. Все сторожа там болваны, не заметят подмены в течение нескольких дней, а может и дольше, так что это лучше, чем прос-

то вырезать картину из рамы. А в это время они перевезут картину в лодке через озеро и вывезут за границу, на Французскую Ривьеру. Итальянской полиции бешено везет — она всегда находит украденные картины, а во Франции с этим легче. А когда картина будет надежно спрятана и Анджело вернется к себе в отель, Скарпио свяжется со страховой компанией. Ты только представь себе — какая сенсация! Страховая компания поймет весь блеск этой операции, и ей придется выложить денежки.

— Сделаешь хорошую копию — получишь свою долю, — сказал Анджело.

— Долю? — спросил Фидельман. — А сколько это будет?

— Во-первых, паспорт, — сказал Анджело осторожно, — плюс двести долларов наличными и — до свидания!

— Пятьсот долларов, — сказал Фидельман.

— Скарпио, — терпеливо сказал хозяин, — покажи-ка ему, что у тебя в брюках.

Скарпио расстегнул куртку и вытащил из висевших на поясе ножен длинный, зловещий кинжал. Фидельману и смотреть было нечего: он отчетливо почувствовал, как холодный клинок вонзается ему между ребер.

— Триста пятьдесят, — сказал он. — Мне нужен билет на самолет.

— Триста пятьдесят, — сказал Анджело. — Выдадим, когда сдашь готовую копию.

— А за материалы вы заплатите?

— Я оплачу все расходы, какие понадобятся. Но если ты задумаешь выкинуть штучку, захочешь

нас надуть или обжулить, так проснешься без головы, а то и еще похуже.

— Скажите, — спросил Фидельман, подумав, — а что, если я откажусь от вашего предложения? Мирно, спокойно...

Анджело сердито встал со скрипучей койки.

— Ну и останешься тут до конца жизни. Выйдешь отсюда только в гробу — и в самом дешевом.

— Понятно, — сказал Фидельман.

— Ну, что скажешь?

— Больше мне нечего сказать.

— Значит — заметано, — сказал Анджело.

— Можешь отдыхать до вечера, — сказал Скарпио.

— Спасибо, — сказал Фидельман.

Анджело нахмурился.

— Сначала вымой уборные.

Достоин ли я? — думал Фидельман. — Смогу ли я сделать такую работу? Осмелюсь ли? — Сомнения обуревали его, множество сомнений, он затосковал, время уходило впустую.

Как-то утром Анджело позвал его к себе в контору.

— Хочешь пива?

— Нет, спасибо.

— Чего-нибудь покрепче?

— Нет, сейчас ничего не надо.

— Да что с тобой? Ходишь, будто мать похоронил.

Фидельман поставил ведро и щетку, вздохнул, но ничего не сказал.

— Почему не бросишь уборку и не начнешь работать? — сказал хозяин. — Я велел привратнику убрать шесть сундуков и всю ломаную мебель со склада — там два больших окна. Скарпио привез

мольберт, он уже купил тебе кисти, краски, все, что надо.

— Там западный свет, неровный.

Анджело пожал плечами.

— Больше ничего сделать не могу. Сейчас сезон, номера занимать нельзя. Хочешь работать ночью, мы тебе поставим лампы. Конечно, это зряшная трата электричества, но я уж пойду тебе навстречу, раз у тебя характер такой, лишь бы ты работал быстро и сделал хорошо.

— Главное — я понятия не имею, как подделать картину, — сказал Фидельман. — Все что я могу — это как-то ее скопировать.

— А нам больше ничего и не нужно. Технику предоставь нам. Сначала сделай приличный эскиз. Когда примешься за работу, я тебе достану кусок бельгийского холста — шестнадцатый век, с него счистили прежнюю живопись. Ты ее загрунтуй свинцовыми белилами, а когда подсохнет — делай эскиз. Кончишь писать, мы со Скарпио закалим холст, чтобы появились трещины, затрем их золой — древность! Может, даже сделаем мушиные пятна, а уж потом покроем лаком, клеим. Сделаем, как надо. Про это целые тома написаны, а Скарпио читает, как черт. Вовсе это не так сложно, как тебе кажется.

— А как же правильно передать цвет?

— Я сам для тебя сотру краски. Я Тицианом всю жизнь занимался.

— Неужели?

— Конечно.

Но вид у Фидельмана по-прежнему был несчастный.

— Что тебя грызет?

— Как же можно украсть у другого художника его мысль, его произведение?

Хозяин залился сиплым смешком:

— Тициан тебя простит. А сам он разве не украл фигуру Венеры Урбинской у Джорджоне? А разве Рубенс не украл одну нагую фигуру у Тициана? Все искусство — кража, везде крадут. Ты украл бумажник, пробовал украсть у меня лиры. На том свет стоит. Все мы люди.

— А разве это не святотатство?

— Все святотатствуют. Мы живем за счет мертвых, а они нами живы. Возьми хоть религию, например.

— Боюсь, что я ничего не смогу сделать, пока не увижу оригинала, — сказал Фидельман. — На ваших цветных репродукциях цвет искажен.

— И на оригиналах тоже. По-твоему, Рембрандт писал такими тусклыми коричневыми тонами? А Венеру тебе придется писать тут. Если ты станешь копировать ее на месте, в галерее замка, какой-нибудь кретин сторож может запомнить тебя в лицо, и потом ты неприятностей не оберешься. И мы, разумеется, тоже, а кому нужны неприятности?

— Все-таки мне надо хотя бы взглянуть на нее, — настаивал Фидельман.

И хозяин, хоть и не очень охотно, согласился отпустить его на день в замок Изола Белла, поручив Скарпио зорко следить за копировщиком.

Когда они ехали на парходике к острову, Скарпио, в темных очках и соломенной шляпе, вдруг спросил Фидельмана:

— Скажи по совести, что ты думаешь об Анджело?

— Да он как будто ничего.

— По-твоему, он красивый?

— Как-то не думал об этом. Может, и был красивым в молодости.

— Ты очень проникательный, — сказал Скарпио. Потом показал вдаль — туда, где длинное голубое озеро уходило в высокие Альпы — Локарно. Шестьдесят километров.

— Не может быть!

При одной мысли о Швейцарии в сердце Фидельмана затрепыхалась свобода, но он ничем себя не выдал. Скарпио льнул к нему, как к родному брату, а проплыть шестьдесят километров с ножом под лопаткой было бы, пожалуй, трудновато.

— Вон он, замок, — сказал Скарпио. — Похож на ресторан.

Замок, весь розовый, стоял на высоком, террасами, холме среди высоких деревьев, в старинном строгом парке. В замке было полным-полно туристов и скверных картин. Но в последнем зальце галереи — сказочное сокровище: в маленькой комнате в полном одиночестве висела Венера Урбинская.

Какое чудо, подумал Фидельман.

Вся золотая, с каштановыми кудрями, Венера, живая, земная женщина, распростерлась на ложе в безмятежной красе, слегка прикрывая одной рукой свою сокровенную тайну и держа красные цветы — в другой; ее нагое тело было истинной ее победой.

— Эх, пририсовал бы я ей кого-нибудь в постель, — сказал Скарпио.

— Молчать! — сказал Фидельман.

Скарпио обиделся и вышел из галереи.

Фидельман, оставшись наедине с Венерой, молился

на картину. Какие изумительные краски, какая необычайная плоть, претворившая тело в дух.

И пока Скарпио у выхода разговаривал с хранителем, копировщик торопливо набросал Венеру и сделал несколько цветных фотографий «лейкой», специально взятой Анджело напрокат у приятеля.

Потом он подошел к картине и стал целовать руки женщины, ее бедра и грудь, но только он хотел прошептать: «Люблю!», как сторож обеими кулаками ударил его по голове.

Вечером, когда они возвращались на катере в Милан, Скарпио захрапел. Вдруг он вскочил со сна, хватаясь за кинжал, но Фидельман не шелохнулся.

2

Копировщик взялся за работу с настоящей страстью. Он словно проглотил и затаил в себе молнию, и теперь надеялся, что она засверкает во всем, чего он коснется. И все же его грызло сомнение — сможет ли он скопировать картину, и страх — ему ни за что не уйти живым из Отель-де-Виль. Он сразу попытался написать Венеру прямо на холсте, но торопливо счистил краски, увидев, какая немыслимая мазня у него вышла. У Венеры были бредовые формы, служанки на заднем плане выглядели карликами. Он вспомнил совет Анджело и сделал несколько эскизов на бумаге, чтобы освоить композицию прежде, чем перенести ее на холст.

Анджело и Скарпио приходили каждый вечер и качали головами над рисунками.

— Непохоже, — говорил хозяин.

- Ничуть не похоже, — говорил Скарпио.
- Стараюсь, — тоскливо говорил Фидельман.
- Старайся лучше, — мрачно говорил Анджело.
- Фидельман внезапно прозрел.
- А что случилось с тем последним художником, который тоже пробовал?
- Плавает в озере до сих пор, — сказал Скарпио.
- Мне попрактиковаться надо, — Фидельман откашлялся. — Зрение у меня что-то помутилось, рука быстро устает. Мне бы немного поупражняться, чтобы чувствовать себя свободнее.
- Это как же поупражняться? — спросил Скарпио.
- Нет, я не про физические упражнения, просто пописать живую натуру, чтобы немного разойтись.
- Ты этим не увлекайся, — сказал Анджело. — У тебя всего месяц в распоряжении, не больше. Сподручнее всего подменить картину во время туристского сезона.
- Как, только месяц?
- Хозяин кивнул головой.
- Может, ты бы просто срисовал? — сказал Скарпио.
- Нельзя.
- Я тебе вот что скажу, — заговорил Анджело. — Я мог бы достать тебе старую картину — лежит голая женщина, а ты ее запиши сверху. Сделаешь похожие формы, как у той, всю ее подменишь.
- Нельзя.
- Почему это нельзя?
- Нечестно. То есть перед собой нечестно.
- Оба захихикали.
- Ладно, дело твое, хозяйское, — сказал Анджело.

Фидельман побоялся спросить, что с ним будет, если его постигнет неудача, а пока что он лихорадочно делал эскиз за эскизом.

Но дело у него шло плохо. Он работал весь день, а часто и всю ночь до рассвета, он пробовал все, что ему приходило в голову. Так как он всегда искажал фигуру Венеры, он снова стал изучать греческие статуи с циркулем и линейкой в руках, пытаясь вычислить идеальные пропорции нагого тела. Под надзором Скарпио он посетил несколько музеев. Фидельман работал и над золотым сечением Витрувия, экспериментировал с пересекающимися кругами, треугольниками Дюрера, изучал схематические тела и головы Леонардо. И ничего не выходило. У него получались какие-то бумажные куклы, а не женщины и, уж конечно, не Венера. Казалось, он изображает каких-то девочек-недоростков. Потом он стал копировать всех обнаженных женщин из альбомов, которые Скарпио носил ему из библиотеки, начиная с богини Эсквилина и кончая «Авиньонскими красотками». Фидельман неплохо копировал классические статуи и современную живопись, но как только он возвращался к своей Венере, она ускользала, словно подсмеиваясь над ним. Заколдовали меня, что ли? — спрашивал себя художник. — И что тому причиной? Ведь с меня требуется только копия, чего же я так вожусь? Он никак не мог догадаться, в чем дело, пока не увидел, как раздетая проститутка пробежала по коридору в комнату к подружке. Может быть, идеальная женщина слишком холодна, а мне хочется живого тепла? Жизнь сильнее искусства? Вдохновляться живой натурой? Фидельман постучал в двери и стал уговаривать девицу попозировать ему, но она отказалась по эконо-

мическим соображениям. И другие тоже отказались — в комнате их было четверо.

Одна из них, рыженькая, крикнула Фидельману:

— Как вам не стыдно, Артуро, зазнались вы, что ли, почему не хотите носить нам кофе с блинчиками?

— Я занят, работаю на Анджело.

Девушки захохотали:

— Знаем, картину рисуете! Тоже работа!

И они захохотали еще громче.

От их насмешек у него совсем упало настроение. Какое от них вдохновение, от этих потаскушек. А может быть, он не мог написать нагую натуру, потому что вокруг бегало голышом слишком много женщин. Все-таки придется взять натурщицу, раз ничего другого не выходит.

В отчаянии, почти что на грани безумия, оттого что время летит, Фидельман вспомнил о горничной Терезе. Конечно, она вряд ли могла считаться образцом женской красоты, но чего только не приукрасит воображение? Фидельман попросил ее позировать ему, и Тереза, смущенно хихикая, согласилась:

— Хорошо, только обещайте никому не говорить.

Фидельман пообещал.

Она разделась — тощая, костлявая женщина, с астматическим дыханием, и он написал ее такой — с плоской грудью, обвисшим животом, худыми бедрами и волосатыми ногами — ничего изменить он не мог. Ван-Эйку она понравилась бы чрезвычайно. Когда Тереза увидела свой портрет, она бурно зарыдала.

— Я думала, вы сделаете меня красивой.

— Я так и собирался.

— Почему же вы сделали по-другому?

— Трудно объяснить, — сказал Фидельман.

— Я тут и на женщину непохожа, — рыдала она. Фидельман прищурил на нее глаза и велел ей взять длинную комбинацию у одной из девиц.

— Одолжи у кого-нибудь комбинацию, и я тебя изображу очень соблазнительной.

Она вернулась в кружевной белой комбинации, и ей это так шло, что у Фидельмана перехватило горло, и, вместо того чтобы ее рисовать, он увлек ее на пыльный тюфяк в углу.

Обняв шелковую комбинацию, художник зажмурил глаза и попытался вызвать в воображении вечно ускользавшую от него Венеру. Он чувствовал, что сейчас его охватит забытый восторг, и ждал его, но в последнюю минуту на ум пришла неприличная песенка про Тициана и натурщицу — он даже не знал, что помнит эти стишки.

И в ту же минуту послышался грозный рев: в комнату вошел Анджело. Он немедленно велел Терезе убираться вон, а та, ползая нагишом на коленях, умоляла оставить ее на службе в отеле. Фидельмана на весь день погнали чистить клозеты.

— Можете меня оставить на этой работе, — подавленным голосом сказал Фидельман хозяину вечером в конторе. — Никогда мне не кончить эту проклятую картину.

— Почему? Что тебе мешает? Я же с тобой общался как с родным сыном.

— Заколodило — и все.

— Иди работать, все наладится.

— Не могу я писать — никак не могу.

— По какой причине?

— Сам не знаю.

— Набаловали мы тебя тут, вот почему, — сказал Анджело и сердито ударил Фидельмана по лицу. А когда тот заплакал, он грубо пнул его ногой в зад.

В тот же вечер Фидельман объявил голодовку, но, услышав об этом, хозяин пригрозил искусственным кормлением.

После полуночи Фидельман украл одежду у спящей проститутки, торопливо оделся, повязал платочек, подмазал глаза и губы и вышел из отеля мимо Скарпио, который сидел на табуретке у дверей, наслаждаясь ночной прохладой. Пройдя квартал, Фидельман испугался, что за ним погонятся, и побежал, спотыкаясь на высоких каблуках, но было уже поздно. Скарпио все же узнал его и кликнул привратника. Фидельман скинул туфли и полетел как сумасшедший, но ему мешала юбка. Скарпио и привратник догнали его, и сколько он ни отбивался руками и ногами, потащили обратно в отель. На шум и возню явился карабинер, но, увидев, как одет Фидельман, не стал за него заступаться. В подвале Анджело бил его резиновым шлангом, пока он не потерял сознания.

Три дня пролежал Фидельман в постели, отказываясь от еды и не желая вставать.

— Что же нам с ним делать? — бурчал встревоженный Анджело. — А что, если на него погадать? Давай погадаем, не то придется его просто похоронить.

— Лучше бы составить его гороскоп, — посоветовал Скарпио. — Я проверю его планету. А если и это не поможет, попробуем психоанализ.

— Давай, давай, только быстрее, — сказал Анджело.

На следующее утро Скарпио вошел в каморку

Фидельмана с американским завтраком на подносе и двумя толстыми томами под мышкой. Фидельман лежал в постели и сосал окурки. Встать он не захотел.

Скарпио положил книги и пододвинул стул к самой кровати.

— Когда ты родился, Артуро? — ласково спросил он, щупая пульс Фидельмана.

Фидельман сказал — когда, в котором часу и где: Бронкс, Нью-Йорк.

Скарпио, справившись по таблицам зодиака, нарисовал гороскоп Фидельмана на листе бумаги и стал внимательно вглядываться в него своим единственным глазом. Через несколько минут он покачал головой:

— Ничего удивительного.

— Что, плохо? — Фидельман с трудом привстал с постели.

— Для тебя и Уран и Венера плохо расположены.

— И Венера тоже?

— Да, она управляет твоей судьбой. — Он поглядел на гороскоп. — Телец на подъеме, Венера подавлена. Вот почему ты ничего не можешь.

— А чем подавлена Венера?

— Тсс... Я проверяю, как к тебе относится Меркурий.

— Лучше сосредоточиться на Венере. Когда она будет в зените?

Скарпио проверил таблицы в книге, записал какие-то числа и знаки и стал медленно бледнеть. Он перелистал еще несколько таблиц, потом встал и подошел к грязному окошку.

— Трудно объяснить. Ты веришь в психоанализ?

— Пожалуй.

— Может, лучше попробовать тебя проанализировать. Ты не вставай.

Скарпио открыл вторую толстую книгу на первой странице.

— Надо дать волю свободным ассоциациям.

— Если я не выберусь из этого борделя, я наверняка умру, — сказал Фидельман.

— Ты помнишь свою мать? — спросил Скарпио. — Например, видел ли ты ее когда-нибудь раздетой?

— Мать умерла от родов, при моем рождении. — Фидельман чувствовал, что он сейчас заплачет. — Меня воспитала Бесси, сестра.

— Говори, говори, я слушаю, — сказал Скарпио.

— Не могу. В голове пустота.

Скарпио уже читал следующую главу, перелистал несколько страниц, потом со вздохом поднялся.

— Может, тебя лечить надо. Прими на ночь лекарство.

— Уже принимал.

Скарпио пожал плечами:

— Жизнь — сложная штука. Во всяком случае, запоминай свои сны. Ты их записывай сразу.

Фидельман пожевал окурочек.

В эту ночь ему приснилось, что Бесси собирается принимать ванну. Он смотрел в замочную скважину, как она наливает воду. Разинув рот, смотрел он, как она снимает халат и входит в ванну. Ее сильное молодое тело тогда было крепко сбито и круглилось, где положено, и Фидельман, которому во сне снова стало четырнадцать лет, смотрел на нее с вожделением, переходящим в тоску. Старший Фидельман, во сне, решил написать тут же «Купальщицу», но когда Бесси

стала мылиться белым куском мыла, тогдашний мальчик пробрался к ней в комнату, открыл ее убогий кошелек, вытащил пятьдесят центов на билет в кино и на цыпочках спустился по лестнице.

Мальчик из сна уже с облегчением закрывал дверь в прихожую, когда настоящий Фидельман проснулся с головной болью. Записывая сон, он вдруг вспомнил слова Анджело: «Все крадут. Все мы люди».

И у него появилась потрясающая мысль: что, если он сам, лично, украдет картину?

Замечательная идея! В это утро Фидельман позавтракал с аппетитом.

Для того чтобы украсть картину, надо было прежде всего написать копию. За один день художнику удалось сделать верный набросок картины Тициана, он перенес его масляными красками на кусок старого фламандского холста, который Анджело, увидев удачный набросок, поторопился ему достать. Фидельман загрунтовал холст и, когда он подсох, начал выписывать фигуру Венеры под пристальными взглядами затаивших дыхание заговорщиков.

— Главное — будь спокоен, — умолял его Анджело, обливаясь потом. — Только не испортить. Помни — ты делаешь только копию картины. Оригинал уже давно написан. Дай нам приличную копию, а мы уж доделаем остальное — химия поможет.

— Меня беспокоит характер мазка.

— Да никто его не заметит. Помни только, что Тициан писал смело, широкими мазками, насыщенной кистью. А под конец растирал краску пальцем. Но ты

об этом не заботься. Никто с тебя не спрашивает совершенства, дай только приличную копию.

И Анджелио нервно потер жирные руки.

Но Фидельман писал так, будто пишет оригинальную работу. Он работал один до поздней ночи, когда заговорщики уже храпели, и вкладывал в эту картину все, что осталось в его сердце. Он уловил линии Венеры, но, когда пришлось писать ее тело — ее бедра и грудь, он подумал, что это ему никогда не удастся. И когда он писал Венеру, ему вспоминались картины всех художников, изображавшие нагих натурщиц, и он, Фидельман, козлоногим сатиром с бородкой Силена плясал между ними, играя на свирели и любуясь и спереди и сзади на «Венеру Роукби», «Вирсавию», «Сусанну», «Венеру Анадиомену», «Олимпию», на одетых и неодетых участниц завтраков на траве, и на купальщиц в таком же виде, на Легкомыслие или Истину, Ниобею и Леду, в любви или бегстве, на домашних хозяек или потаскушек, на влюбленных дев, скромных или дерзновенных, на одиночек или на группы в турецких банях, перед ним мелькали всевозможные формы и позы, и он радовался и веселился, и тут три менады стали дергать его за кудрявую бородку, и он галопом помчался за ними по темным лесам. И в то же время его душило воспоминание о любви ко всем женщинам, которых он когда-либо возжелал — от Бесси до Анны Марии Оливино, воспоминание об их подвязках, рубашках, штанишках, лифчиках и чулках. Но как ни мучили его все эти видения, он чувствовал, что влюбляется в ту, которую он писал, в каждую клеточку ее тела, каждую складочку ее розовой кожи, в браслет на руке, в цветок, которого она касалась пальцем, в ярко-зеленую серьгу,

спускавшуюся с ее лакомого ушка. Он молил бы ее — оживи, если бы не был уверен, что она влюбится не в своего изголодавшегося творца, а в первого попавшегося ей на глаза Аполлона Бельведерского. Да есть ли такой мир, спрашивал себя Фидельман, где любовь живет вечно и всегда приносит блаженство? — и сам себе отвечал: нету. Но она, та, которую он писал красками, принадлежала ему, и он все писал, писал, мечтая никогда не кончить картину, всегда испытывать счастье своей любви к ней, вечное, нескончаемое счастье.

Но в субботу вечером ему пришлось закончить картину. Анджело держал револьвер у его виска. Потом у него отняли Венеру, и Скарпио с Анджело закалили ее в печи, закоптили, исчеркали, покрыли лаком, натянули холст на подрамник и вставили фидельмановский шедевр в раму, а сам мастер в это время лежал на кровати в своей каморке в полуобморочном состоянии.

— Венера Урбинская — *c'est moi* *.

3

— А где мои триста пятьдесят долларов? — спросил Фидельман у Анджело, когда они играли в карты в конторе у Анджело несколько дней спустя. Закончив картину, художник опять стал уборщиком.

— Получишь, когда вывезем Тициана.

— Я свое уже сделал.

— Не возражай — я так решил.

* Перифраза слов Флобера: «Мадам Бовари — это я!»

— А где мой паспорт?

— Отдай ему паспорт, Скарпио.

Скарпио отдал паспорт. Фидельман перелистал его — листки были целы.

— Только попробуй смыться, — сказал Анджело, — приколем.

— А кто собирается смываться?

— В общем план такой. Вы со Скарпио пойдете на лодке к острову после полуночи. Сторож там старик, почти глухой. Повесите эту картину и удерете с той, другой.

— Как хотите, — сказал Фидельман. — Но я охотно все сделаю сам. То есть в одиночку.

— Почему это в одиночку? — подозрительно спросил Скарпио.

— Не валяй дурака, — сказал Анджело. — Картина с рамой весит чуть ли не полтонны. Ты слушай, что приказывают, и сам помалкивай. За что я еще ненавижу американцев, так это за то, что они своего места не знают.

Фидельман извинился.

— Я пойду за вами следом, в моторке, буду ждать вас на полпути между Изола Белла и Стрезой в случае, если вам понадобится в последнюю минуту поднажать.

— А вы думаете — возможны осложнения?

— Нет, не думаю. А если будут осложнения, так только по твоей вине. Так что гляди в оба.

— Голову долой! — сказал Скарпио. Он пошел с козыря и забрал всю ставку.

Фидельман вежливо посмеялся.

На следующую ночь Скарпио вышел на озеро в огромной старой гребной лодке с обмотанными

веслами. Ночь была безлунная, только изредка в Альпах вспыхивали зарницы. Фидельман сидел на корме и обеими руками держал, прислонив к коленям, большую картину в раме, тщательно завернутую в толстое монастырское сукно и целлофан и обвязанную веревкой.

У острова Скарпио причалил лодку и закрепил трос. Озираясь в темноте, Фидельман старался запомнить, где они находятся. Они понесли картину по лестнице — двести ступеней и, задыхаясь, дошли до верхнего парка.

В замке было темно, только высоко в башенке желтым квадратом светилось окошко сторожа. Когда Скарпио открыл защелку тяжелой резной двери полоской целлулоида, желтеющее окно наверху приоткрылось и оттуда высунулся старик. Они застыли, прижавшись к стене, пока окошко не захлопнулось.

— Быстро! — прошипел Скарпио. — Увидят — весь остров перебудоражат.

Открыв скрипучие двери, они торопливо понесли картину наверх — казалось, она становится все тяжелее от спешки, почти бегом пересекли огромный зал, забитый дешевыми скульптурами, и при свете карманного фонарика Скарпио поднялись по узкой винтовой лесенке. Осторожно ступая, они прошли в глубокой тьме увешанный гобеленами переход в картинную галерею, и Фидельман остановился как вкопанный, увидев Венеру — подлинный и прекрасный образ, который он подделал.

— Давай, давай за работу! — Скарпио быстро развязал веревку и развернул картину Фидельмана, прислонил ее к стене. Они уже снимали Тициана, как вдруг внизу в галерее послышались отчетливые шаги.

Скарпио погасил фонарик.

— Тсс! Это сторож! Если войдет — придется его стукнуть по башке.

— Тогда весь план лопнет: Анджело хотел взять обманом, а не силой.

— Дай отсюда выбраться, тогда будем думать.

Они прижались к стене, у Фидельмана вся спина вспотела, когда шаги старика стали приближаться. В страхе он подумал, что его картина пропадет, в голове мелькали путанные мысли — как бы ее спасти. Но тут шаги замедлились, остановились, минута прошла в напряженной тишине — и шаги послышались уже в другом направлении. Хлопнула дверь, и все стихло.

Лишь через несколько секунд Фидельман с трудом перевел дыхание. Не шевелясь, они ждали в темноте, пока не вспыхнул фонарик Скарпио. Обе Венеры стояли у стены. Скарпио, прищурив здоровый глаз, пристально рассматривал их обеих, потом показал на картину слева: «Вот она. Давай заворачивай ее!»

Фидельмана прошиб холодный пот.

— С ума ты сошел, что ли? Это же моя. Неужели ты не можешь отличить настоящее произведение искусства? — Он показал на другую картину.

— Искусства? — Скарпио побледнел и снял шляпу. — А ты уверен? — Он вглядывался в картину.

— Никакого сомнения.

— Только не пробуй сбить меня. — Он звякнул кинжалом под курткой.

— Та, что посветлее, и есть Тициан, — у Фидельмана пересохло горло: — Вы мою слишком подкурили.

— А я готов был поклясться, что твоя светлее.

— Нет. Тициан светлей. Он любил светлые лаки. Это исторический факт.

— Да, конечно, — Скарпио вытер мокрый лоб замусоленным платком. — Беда моя — глаза плохи. Один ни черта не видит, другой слишком напрягается.

— Пст, пст, — сочувственно причмокнул Фидельман.

— Ладно, давай скорее. Анджело ждет на озере. Помни — выйдет ошибка, он тебе глотку перервет.

Они повесили более темную картину на место, быстро завернули ту, что посветлее, и торопливо пронесли ее через длинную галерею, вниз по лестнице. Фидельман освещал дорогу фонарем Скарпио.

У причала Скарпио взбудораженно спросил Фидельмана:

— А ты уверен, что мы взяли ту, настоящую?

— Слово даю!

— Ладно, верю, только мне все-таки придется еще раз взглянуть. Посвети-ка фонарем, только прикрой ладонью.

Скарпио присел, чтобы развязать веревки, и Фидельман, весь трясясь, изо всех сил ударил фонарем по соломенной шляпе Скарпио так, что стекло брызнуло в стороны. Скарпио схватился за кинжал и потерял сознание.

Фидельман с трудом подтащил картину к лодке, но, наконец, поставил ее, закрепил и отчалил от берега. Через десять минут он уже был далеко от темного острова, увенчанного замком. Вскоре ему показалось, что за ним гонится моторка Анджело, и сердце у него заколотилось, но хозяин так и не появился. Он греб, а волны вздымались все выше.

Локарно. Шестьдесят километров.

Дрожащая молния изломом пронзила небо, осветив помутневшее озеро до самых Альп, и вдруг страшная мысль мелькнула у Фидельмана: ту ли картину он увозит? Подумав с минуту, он поднял весла, еще раз прислушался — не гонится ли за ним Анджело, и, ничего не услышав, пробрался на корму лодки, колыхавшейся на волнах, и лихорадочно стал разворачивать Венеру.

И в густой тьме, посреди беспокойного озера, он увидел, что это была именно его картина, и, зажигая одну спичку за другой, он с обожанием смотрел на свое произведение.

Волшебный бочонок

В недавние времена жил-был в Нью-Йорке, в маленькой, почти нищенской, хотя и полной книг, комнате, Лео Финкель, студент Йешивского университета, где готовят раввинов. Этот Лео Финкель после шести лет обучения в июне должен был быть посвящен в сан раввина, и один знакомый посоветовал ему жениться, потому что женатому человеку легче завоевать доверие прихожан. Так как никаких видов на невесту у него не было, то, промучавшись два дня этой мыслью, он вызвал к себе Пиню Зальцмана, свата, чье объявление в две строки он прочитал в газете «Форвард».

Сват появился из глубины коридора на четвертом этаже серого каменного дома, где Финкель жил на пансионе, судорожно сжимая черный, истертый до неузнаваемости портфель, перетянутый ремешками. Зальцман, занимавшийся сватовством много лет, был невысокий, но полный достоинства человек, в старой шляпе и не по росту узком и коротком пальтишке. От него откровенно пахло рыбой — видно, он ее часто ел, — и хотя у него не хватало нескольких зубов, он производил скорее приятное впечатление своей приветливостью, странно противоречащей тоскливому выражению глаз. Он весь был как на пружинках — голос, губы, жиденькая бородка, костлявые пальцы, но стоило ему на минуту угомониться, как в его кротких голубых глазах появлялась такая глу-

бокая скорбь, что Лео сразу успокоился, хотя для него вся эта ситуация была невероятно тягостна.

Он тут же сообщил Зальцману, зачем он его позвал, объяснил, что сам он родом из Кливленда и что, кроме родителей, вступивших в брак уже на склоне лет, у него нет никого на свете. Шесть лет он почти всецело посвятил себя науке, вследствие чего он, понятно, не имел возможности возвращаться в общество и встречаться с молодыми особами. Поэтому он считал, что не стоит искать вслепую, разочаровываться, а лучше позвать человека, опытного в таких делах, и посоветоваться с ним. Мимоходом он отметил, что профессия свата исстари пользовалась почетом и весьма ценилась в еврейской общине, ибо, оказывая необходимую практическую помощь, сватовство отнюдь не лишает людей счастья. Более того, собственные его родители тоже познакомились через свата. И брак их был не то чтобы очень выгодным в финансовом отношении, потому что оба они никакими особенными земными благами не владели, но зато оказался чрезвычайно удачным, так как они были безгранично преданы друг другу. Сначала Зальцман слушал растерянно и удивленно, чувствуя, что перед ним в чем-то оправдываются. Но потом в нем зажглась гордость за свою работу — чувство, которого он не ощущал уже много лет, да и Финкель явно пришелся ему по душе.

Они занялись делом. Лео усадил Зальцмана на единственное свободное место в комнате — за стол у окна, выходящего на залитый светом город. Сам он сел рядом со сватом, повернувшись к нему и стараясь усилием воли сдерживать неловкое щекотание в горле. Зальцман торопливо расстегнул ремешки и, вынув

из портфеля тонкую пачку затрепанных карточек, снял с них растянутую резинку. Он с треском перелистал их, от этого звука Лео ощутил почти физическую боль и, сделав равнодушное лицо, уставился в окно. Хотя стоял февраль, но зима уже доживала последние часы, и он впервые за многие годы заметил это. Он смотрел, как круглый месяц высоко плывет сквозь облачный зверинец, и, приоткрыв рот, следил, как он проникает в гигантскую курицу и выпадает из нее, словно само собой снесенное яйцо. Притворяясь, что он изучает надписи на карточках сквозь только что нацепленные очки, Зальцман украдкой поглядывал на благородное лицо юноши, одобрительно отмечая длинную строгую линию носа — как у настоящего ученого! — карие глаза с потяжелевшими от занятий веками, живые и вместе с тем аскетические губы, почти болезненную впалость смуглых щек. Зальцман перевел взгляд на бесконечные полки с книгами и вздохнул с тихим удовлетворением.

Когда Лео взглянул на карточки, он увидел, что Зальцман отобрал и держит веером шесть штук.

— Так мало? — спросил он разочарованно.

— Их у меня в конторе столько, что вы не поверите! — ответил Зальцман. — Все ящики набиты битком — я их теперь уже держу в бочонке. Но разве для нового ребе каждая девушка подходит?

Лео покраснел, жалея, что так подробно рассказывал о себе в письме, посланном Зальцману. Ему тогда казалось, что необходимо ознакомить свата со всеми своими требованиями и пожеланиями, но сейчас он чувствовал, что сообщил о себе много лишнего.

Он нерешительно спросил:

— А у вас заведена картотека фотографий всех ваших клиенток?

— Сначала я записываю про всю семью, ну, и сколько приданого и что можно ожидать впереди. — Зальцман расстегнул тесное пальто и уселся поудобнее. — А после уже беру фотографии, ребя!

— Называйте меня мистер Финкель. Я же еще не раввин.

Зальцман согласился и стал называть его «доктор», но, когда ему казалось, что Лео слушает не слишком внимательно, он снова называл его «ребя».

Поправив роговые очки, Зальцман деликатно откашлялся и проникновенным голосом прочел надпись на первой карточке:

«Софи П. Двадцать четыре года. Вдовец один год. Бездетная. Образование — средняя школа, два года в колледже. Отец обещает восемь тысяч долларов. Чудная оптовая торговля. Также недвижимое имущество. С материнской стороны в родне учителя, также один актер, известный всем на всей Второй авеню».

Лео посмотрел на него с удивлением:

— Вы сказали — вдова?

— Вдова — это еще не значит порченная, ребя! Она и с мужем прожила всего каких-то там четыре месяца. Он же был больной, она зря вышла за него, такая ошибка!

— Но я не собирался жениться на вдове.

— Это потому, что вы такой неопытный. Если вдова, да еще здоровая, молодая, так лучшей жены и не надо. Всю жизнь она будет вам благодарна. Я вам скажу, что если бы мне сейчас надо было жениться, так я женился бы только на вдовушке, честное слово!

Лео подумал, потом покачал головой.

Зальцман слегка пожал плечами — он был явно разочарован. Положив фото на стол, он стал читать надпись на другой карточке:

«Лили Г. Учительница средней школы. Служба постоянная. Не замещает. Есть сбережения, новая машина «додж». Год жила в Париже. Отец — видный зубной врач, стаж тридцать пять лет. Интересуется человеком интеллигентной профессии. Семья уже американизировалась. Прекрасные перспективы».

— Я с ней знаком, — сказал Зальцман. — Вы бы посмотрели на эту девочку. Одно слово — кукла. А умница какая! Сутки вы с ней можете говорить про книжки, про театры, я знаю про что! Ей все на свете известно.

— Вы, кажется, не упомянули о ее возрасте?

— Ее возраст? — Зальцман высоко поднял брови. — Какой там возраст — тридцать два года!

Подумав, Лео сказал:

— Нет, боюсь, это слишком много.

Зальцман хихикнул.

— А сколько же вам, ребе?

— Двадцать семь.

— Ну скажите мне, какая разница—или двадцать семь, или тридцать два? Моя собственная жена старше меня ровно на семь лет. Ну и что, разве я страдал? Ни чуточки! А если за вас захочет выйти дочка Ротшильда, так вы тоже откажетесь из-за ее возраста, да?

— Откажусь, — сухо сказал Лео.

Зальцман не принял отказ:

— Что такое пять лет? Клянусь жизнью, вы с ней проживете неделю и уже забудете про возраст. Ну что такое пять лет — это только значит, что она

прожила дольше и знает больше всяких девчонок. У этой барышни, дай ей бог здоровья, ни один год не пропал. С каждым годом она подымается в цене.

— А что она преподает в школе?

— Иностранные языки. Вы бы послушали, как она говорит по-французски, так это чистая музыка. Двадцать пять лет я при этом деле, и я ее рекомендую от всей души. Верьте, я уж знаю, о чем я говорю, ребе!

— А кто у вас еще? — отрывисто спросил Лео.

— «Руфь К. Девятнадцать лет. Студентка-отличница. Отец предлагает тринадцать тысяч, если жених подойдет. Он сам доктор. Специалист по желудку, чудная практика. У деверя своя собственная торговля готовым платьем. Вся семья — это что-то особенное».

У Зальцмана был такой вид, будто он выложил свой лучший козырь.

— Вы сказали — девятнадцать? — заинтересовался Лео.

— Точно, как в аптеке!

— И она привлекательна? — спросил Лео, краснея. — Хорошенькая?

Зальцман поцеловал кончики пальцев.

— Куколка! Даю вам честное слово. Позвольте мне сегодня позвонить ее папе, и вы увидите, что значит хорошенькая.

Но Лео все беспокоился:

— А вы уверены, что она так молода?

— Что значит — уверен? Отец вам покажет ее метрику.

— А вы точно знаете, что там нет никакого подвоха? — настаивал Лео.

— Какой тут может быть подвох?

— Тогда я не понимаю, зачем девушка, американка, в таком возрасте, вдруг обращается к свату?

Зальцман расплылся в улыбке:

— Как вы обратились, так и она тоже.

Лео покраснел.

— У меня же время ограничено.

Зальцман понял, что совершил бестактность:

— Не она пришла, пришел ее отец, — объяснил он быстро. — Он хочет, чтобы доченьке достался лучший из лучших, вот он сам и ищет. А когда мы с ним нащупаем подходящего жениха, так он их познакомит, он их подтолкнет. Это же куда лучше, чем если такая девочка, такая неопытная, сама себе будет кого-то искать. Зачем мне вам это говорить?

— Но разве, по-вашему, эта молодая девушка не верит в любовь? — неловко спросил Лео.

Зальцман чуть не прыснул, но удержался и строго сказал:

— Любовь приходит, когда найдется подходящий человек, а вовсе не сама по себе!

Лео приоткрыл пересохшие губы, но ничего не сказал. Но, заметив, что Зальцман украдкой поглядывает на следующую карточку, он лукаво спросил:

— А как у нее со здоровьем?

— Превосходно. — Зальцман запыхтел. — Ну, немножко хромает на правую ножку, в двенадцать лет попала в автомобильную катастрофу, но разве кто это замечает, когда она такая умница, такая красавица!

Лео тяжело поднялся со стула, подошел к окну. В нем зашевелилась странная горечь, он бранил себя за то, что позвал свата. Наконец он покачал головой.

— Ну, а почему нет? — спросил Зальцман, повышая голос.

— Потому, что я ненавижу специалистов по желудочным болезням.

— А что вам за дело до его специальности? Вы поженитесь — а тогда зачем он вам сдался? Кто сказал, что он каждую пятницу должен ходить к вам в дом?

Лео стало стыдно — уж очень неприятный оборот принял разговор. Он попрощался с Зальцманом, и тот ушел домой, печально моргая тяжелыми веками.

Хотя на душе у Лео стало легче, когда сват ушел, он был в плохом настроении весь следующий день. Он объяснял это тем, что Зальцман не сумел предложить ему подходящую невесту. Не нравились ему зальцмановские клиентки. Но когда Лео стал подумывать, не найти ли ему другого свата, более обходительного, чем Пиня, он спросил себя: не в том ли дело, что он внутренне против самого обычая, против сватов вообще, хотя и утверждает обратное и чтит своих родителей. И хотя он сразу отбросил эту мысль, но расстроился еще больше. Весь день он бегал по парку, пропустил важное деловое свидание, забыл отдать белье в прачечную, вышел из кафе на Бродвее, не заплатив, — пришлось бежать назад, с чеком в руке, и даже не узнал свою квартирную хозяйку, когда та прошла мимо по улице с приятельницей, приветливо окликнув его: «Добрый вечер, доктор Финкель!» Лишь поздно вечером он настолько успокоился, чтобы снова засесть за книгу и уйти от своих мыслей.

Но почти что сразу в дверь постучали. Лео не успел еще сказать «войдите!», как Зальцман, купидон

от коммерции, уже появился на пороге. Лицо у него посерело, щеки впали, глаза были голодные — казалось, он вот-вот испустит дух. Но каким-то сверхъестественным усилием он задвигал скулами, и на его лице появилась широкая улыбка.

— Ну, доброго вам вечера! Так меня примут или нет?

Лео кивнул, и хотя его расстроил приход свата, но прогнать его он не решился.

С застывшей улыбкой Зальцман положил портфель на стол.

— Ой, какие у меня хорошие новости сегодня, ребе!

— Я просил бы вас не называть меня «ребе», я еще только студент.

— Кончились все ваши заботы. У меня есть для вас невеста — первый сорт!

— Не будем затрагивать этот вопрос, — сказал Лео с притворным равнодушием.

— На вашей свадьбе будет танцевать весь свет!

— Прошу вас, мистер Зальцман, не надо.

— Мне бы нужно немножко подкрепиться, — сказал Зальцман слабым голосом. Он расстегнул ремни на портфеле и, вынув промасленный бумажный мешочек, достал из него твердую булочку с маком и небольшую копченую рыбку. Быстрыми пальцами он снял с рыбы кожицу и стал жадно жевать. — Целый день одна беготня, — пробормотал он.

Лео смотрел, как он ест.

— А кусочка помидора у вас случайно нет? — спросил Зальцман робко.

— Нет.

Сват закрыл глаза и опять зажевал. Поев, он гща-

тельно собрал крошки и завернул остатки рыбы в мешочек. Блестя очками, он оглядел комнату, пока среди груды книг не углядел газовую плитку с одним рожком. Приподняв шляпу, он смиренно спросил:

— Так, может, найдется стаканчик чаю, ребе?

Лео встал и заварил чай — в нем заговорила соевь. Он подал Зальцману стакан чаю с ломтиком лимона и двумя кусками сахара, и тот выразил полный восторг.

Попивая чай, Зальцман пришел в отличное настроение, к нему вернулись силы.

— Ну, так скажите мне, ребе, — приветливо начал он, — так вы хоть подумали про тех трех клиентов, вчерашних, или как?

— Мне и думать было не о чем.

— Почему нет?

— Ни одна мне не подходит.

— А что вам подходит, что?

Лео пропустил вопрос мимо ушей, потому что точного ответа сам не знал.

Не дожидаясь, Зальцман спросил:

— Помните ту девушку, я про нее говорил, ну, ту учительницу?

— Которой тридцать два года?

Зальцман неожиданно просиял:

— Ей же двадцать девять!

Лео покосился на него:

— Вычли из тридцати двух?

— Ошибка, — признался Зальцман. — Сегодня говорил с ее папашей. Он подвел меня к сейфу и показал ее метрику. В августе ей исполнилось двадцать девять лет. Они ей устроили такие именины, понимаете, в горах, она там отдыхала, на каникулах.

В первый раз, как я говорил с ее отцом, я забыл записать ее возраст, ну, я и сказал вам — тридцать два, а теперь вспомнил — так то была вовсе другая клиентка, вдова.

— Вы и про нее мне говорили. Я думал — той двадцать четыре.

— Это опять другая. Разве я виноват, что на свете полным-полно вдов?

— Нет, я вас не виню, но меня вдовы не интересуют. Да и школьные учительницы тоже.

Зальцман прижал сложенные ладони к груди. Возведя глаза к потолку, он воскликнул:

— Ой, евреи, ну что я могу сказать человеку, когда он не интересуется даже учительницами из средней школы? Так чем вы интересуетесь, чем?

Лео покраснел, но сдержался.

— Чем же это вы интересуетесь? — продолжал Зальцман. — Когда такая девушка говорит на четырех языках и в банке имеет личный счет — десять тысяч долларов, так она вас не интересуется? И еще отец обещает целых двенадцать тысяч! И еще у нее новая машина, роскошные туалеты, может поговорить про что угодно, дом вам устроит — первый класс, дети будут — лучше не надо. Разве в нашей жизни часто можно себе заработать такой рай?

— Если она такая замечательная, почему она не вышла замуж десять лет назад?

— Почему? — Зальцман ядовито засмеялся. — Потому что у нее такие требования! Понятно? Она хочет только самое что ни на есть лучшее!

Лео молчал, ему даже было забавно — куда он впутался. Но Зальцман пробудил в нем какой-то интерес к Лили Г., и он всерьез подумал, не познако-

миться ли с ней. И когда сват увидел, что Лео задумался над его словами, в нем укрепилась уверенность, что вскоре они придут к соглашению.

В субботу, уже к вечеру, Лео Финкель, думая о Зальцмане, гулял с Лили Гиршгорн по Риверсайд-драйв. Он шел выпрямившись, с достоинством выступая во всем параде — в черной шляпе, которую он с замиранием сердца достал с утра из пыльной картонки, стоявшей в шкафу, в плотном черном праздничном пальто, вычищенном до блеска. Была у Лео и палка, подарок дальнего родственника, но он преодолел искушение и палку не взял. На Лили, миниатюрной и совсем недурненькой, было что-то возвещавшее о близости весны. Ей действительно было известно все на свете, она оживленно болтала, и, слушая ее, Лео нашел, что она удивительно разумно рассуждает, — очко в пользу Зальцмана, чье присутствие он со стеснением ощущал где-то рядом — как будто он прятался на дереве у обочины, подавая его спутнице сигналы карманным зеркальцем, а может быть, козлоногим Паном наигрывал ей свадебные мелодии, невидимо кружась перед ними в танце, и усыпал их путь розами и лиловыми гроздьями винограда — символом их союза, хотя пока что о союзе и речи не было.

И Лео вздрогнул от неожиданности, когда Лили вдруг сказала:

— А я думала сейчас о мистере Зальцмане. Занятный он человек, правда?

Не зная, что ответить, он только кивнул.

Но она храбро продолжала, слегка краснея:

— В общем я ему благодарна, ведь это он нас познакомил. А вы?

Он вежливо ответил:

— И я тоже.

— Я хочу сказать... — Она рассмеялась, и то, что она сказала, было сказано вполне по-светски, во всяком случае, ничего вульгарного в этом не было. — Я хочу сказать — ведь вы не против, что мы с вами так познакомились?

Ему была скорее приятна ее честность: значит, она хотела сразу наладить их отношения, и он понимал, что для такого подхода требуется какой-то жизненный опыт и смелость. Видно, у нее было прошлое, раз она так прямо могла выяснить отношения.

Он сказал, что ничего не имеет против такого способа знакомства. Профессия Зальцмана освящена традицией и вполне почтенна, она может оказать ценные услуги, хотя, подчеркнул он, может и ничего не выйти.

Лили со вздохом согласилась. Они шли рядом, и после довольно долгого молчания она спросила с нервным смешком:

— Вы не обидитесь, если я вам задам несколько личный вопрос? Откровенно говоря, эта тема мне кажется безумно увлекательной.

И хотя Лео только пожал плечами, она несколько смущенно спросила:

— Как вы пришли к своему призванию? Я хочу сказать — наверно, вас осенила благодать?

Помолчав, Лео медленно сказал:

— Меня всегда интересовало священное писание.

— Вы чувствовали в нем присутствие всевышнего?

Он кивнул и переменял тему:

— Я слышал, что вы побывали в Париже, мисс Гиршгорн?

— Ах, это вам Зальцман сказал, рабби Финкель? — Лео поморщился, но она продолжала: — Это было так давно, уже все позабылось. Помню, мне пришлось вернуться на свадьбу сестры.

Нет, эту Лили ничем не остановить. С дрожью в голосе она спросила:

— Так когда же в вас вспыхнула любовь к богу?

Он посмотрел на нее, широко открыв глаза. И вдруг понял, что она говорит не о нем, Лео Финкеле, а о совершенно другом человеке, о каком-то мистическом чуде, может быть даже о вдохновенном пророке, которого выдумал для нее Зальцман, какого и на свете нет. Лео задрожал от гнева и унижения. Наговорил ей с три короба, старый вун, и ему тоже — обещал познакомить с девушкой двадцати девяти лет, а он по ее напряженному, тревожному лицу сразу понял, что перед ним женщина лет за тридцать пять, и притом очень быстро стареющая. Только выдержка заставила его потерять с ней столько времени.

— Я вовсе не религиозный человек, — сурово произнес он, — и никаких талантов у меня нет. — Он чувствовал, что стыд и страх охватывают его, когда он подыскивает слова. — Я думаю, — сказал он напряженным голосом, — что я пришел к богу не потому, что любил его, а потому, что я его не любил.

Лили сразу завяла. Лео увидел, как вереница румяных буханок хлеба уносится от него, словно стая уток в высоком полете, совсем как те крылатые хлеба, которые он мысленно считал вчера вечером,

пытаюсь уснуть. К счастью, внезапно пошел снег, и он подумал — уж не Зальцман ли это подстроил.

Он так взъярился на свата, что поклялся выкинуть его из комнаты, как только появится. Но Зальцман в тот вечер не пришел, и гнев Лео приутих, сменившись необъяснимой тоской. Сначала он решил, что виновато разочарование от встречи с Лили, но потом ему стало ясно, что он связался с Зальцманом, не отдавая себе отчета. И словно шесть рук вырвали из него душу, оставив внутри сплошную пустоту, когда он, наконец, понял, что просил свата найти ему невесту, потому что сам на это не способен. Страшное откровение пришло к нему после встречи и разговора с Лили Гиршгорн. Ее настойчивые вопросы довели его до того, что он — больше себе, чем ей, — открыл свое истинное отношение к богу и при этом с убийственной ясностью осознал, что, кроме своих родителей, он никогда никого не любил. А может быть, все было наоборот: он не любил бога, как мог бы любить, именно потому, что не любил людей. Казалось, вся его жизнь обнажилась перед ним, и Лео впервые увидел себя таким, каким он был на самом деле — нелюбящим и нелюбимым. И от этого горького, хотя и не совсем неожиданного, открытия он пришел в такой ужас, что только страшным усилием воли сдержал крик. Закрыв лицо руками, он тихо заплакал.

Хуже следующей недели он ничего в жизни не знал. Он перестал есть, исхудал. Борода у него потемнела, растрепалась. Он не посещал семинары и почти не открывал книг. Он всерьез думал, не уйти ли ему из Йешивского университета, хотя его глубоко тревожила мысль о потерянных годах учения (они

представлялись ему как сотни страниц, вырванных из книг и рассыпанных над городом), уж не говоря о том, что это убьет родителей. Но прежде он жил, не зная себя, и ни в Пятикнижии, ни в комментариях — *теа supra** — не сумел открыть истину. Он не знал, куда деваться, и в этом отчаянном одиночестве обратиться было не к кому, и хотя он часто думал о Лили, но ни разу не мог заставить себя сойти вниз и позвонить ей по телефону. Он стал обидчив и раздражителен, особенно с хозяйкой квартиры, которая приставала к нему с разными расспросами, но, с другой стороны, чувствуя, каким он становится противным, он останавливал ее на лестнице и униженно извинялся, пока она в обиде не убегала от него. Во всем этом он находил одно утешение: он был еврей, а евреи обречены на страдания. Но к концу этой жуткой недели он снова обрел силы и цель в жизни: надо продолжать то, что намечено. Пусть он сам не совершенен, зато его идеал — совершенство. И хотя при одной мысли о поисках невесты у него начинались изжога и тоска, но, быть может, теперь, узнав себя заново, он мог добиться большего успеха. Может быть, именно теперь к нему придет любовь, а с ней и желанная невеста. Неужто для этого священного поиска ему нужен был какой-то Зальцман?

И в тот же вечер сват, похожий на скелет с загнанными глазами, появился в его доме. Он являл собой картину обманутого ожидания, словно всю неделю вместе с Лили Гиршгорн терпеливо ждал телефонного звонка и не дождался.

Робко откашлявшись, он сразу приступил к делу:

* *Моя вина (латин.)*.

— Ну и как она вам понравилась?

Лео рассердился и не мог удержаться, чтобы не отругать свата.

— Зачем вы наврали мне, Зальцман?

Бледное лицо Зальцмана побелело, словно он окоченел от лютого мороза.

— Вы же сказали, что ей всего двадцать девять? — настаивал Лео.

— Даю вам слово...

— А ей все тридцать пять, если не больше. По меньшей мере тридцать пять!

— Что вы заладили одно и то же! Ее отец сам мне сказал.

— Ну ладно. Гораздо хуже, что вы и ей наврали.

— А как это я ей наврал, как?

— Вы рассказали ей обо мне неправду. Вы все преувеличили и тем самым унизили меня. Она вообразила, что я совсем другой человек, какой-то полумистический чудо-раввин.

— Я же только сказал, что вы религиозный человек.

— Воображаю.

Зальцман вздохнул.

— Что делать, такая у меня слабость, — сознался он. — Моя жена всегда говорит: ну зачем тебе все хочется продать? Но когда я вижу двух хороших людей и знаю, что им бы только пожениться на здоровье, так я до того радуюсь, что на меня удержу нет, все говорю, говорю. — Он смущенно ухмыльнулся. — Потому Зальцман и нищий.

Лео уже не сердился:

— Что ж, Зальцман, больше нам говорить не о чем.

Сват вперил в него голодный взгляд.

— Вы что, не хотите больше искать невесту или как?

— Нет, хочу, — сказал Лео. — Но я решил искать ее по-другому. Больше я на сватовство не пойду. Откровенно говоря, я теперь считаю необходимым полюбить до брака. Понимаете, я хочу влюбиться в ту, на которой я женюсь.

— Влюбиться? — сказал Зальцман с удивлением. Помолчав, он добавил: — Может, для нас любовь — это наша жизнь, но уж для женщин — нет. Там, в гетто, они...

— Знаю, знаю, — перебил его Лео. — Я часто об этом думал. Любовь, говорил я себе, должна быть побочным продуктом главного: жизни, религии, а не самоцелью. Но для себя я считаю необходимым поставить себе цель и достичь ее.

Зальцман пожал плечами, но сказал:

— Слушайте, ребе, хотите любовь, так я вам устрою любовь. У меня есть такие клиентки, такие красавицы, что не успеют ваши глаза их увидеть, как вы уже влюблены.

Лео невесело усмехнулся:

— Боюсь, что вы ничего не понимаете.

Но Зальцман уже торопливо расстегивал портфель и вынимал из него толстый конверт.

— Карточки, — сказал он, кладя конверт на стол и уходя.

Лео закричал ему вслед, чтобы он забрал свой конверт, но Зальцмана словно ветром сдуло.

Наступил март. Лео вернулся к своим обычным занятиям. Хотя ему все еще было не по себе — одолевала усталость, он задумал как-нибудь расширить

знакомства. Конечно, не обойтись без расходов, но он умеет сводить концы с концами, а когда они не сводятся, он их связывает. Зальцмановские карточки пылились на столе. Иногда, сидя за книгами или за стаканом чаю, Лео поглядывал на конверт, но ни разу до него не дотронулся.

Время шло, но никаких новых знакомств с лицами прекрасного пола Лео не завел, слишком это было сложно в его положении. Как-то утром Лео поднялся в свою комнату и, стоя у окна, посмотрел на город. И хотя день был ясный, ему все казалось мрачным. Он долго смотрел, как люди куда-то спешат, потом с тяжелым сердцем отвернулся от окна и оглядел свою каморку. Конверт все еще лежал на столе. Внезапно он схватил его и открыл рывком. Полчаса он стоял у стола в каком-то возбуждении, рассматривая фотографии, оставленные Зальцманом. Наконец он отложил их с глубоким вздохом. Девушек было шесть, все были по-своему привлекательны, но стоило на них посмотреть подольше, и они превращались в Лили Гиршгорн: все не первой молодости, у всех голодные глаза при веселых улыбках — ничего настоящего, подлинного. Видно, жизнь прошла мимо них, несмотря на их страстные призывы. Они превратились в фотографии из черного портфеля, вонявшего рыбой. Но когда Лео стал втискивать фотографии в конверт, оттуда выпала еще одна — любительский снимок, так снимают на улице у фотографа-«пушкаря» за четвертак. Он только взглянул — и вскрикнул.

Это лицо проникало в самую душу. Он не сразу понял почему. В нем была юность — весеннее цветение и вместе с тем старость — какая-то растрачен-

ность, замученность — особенно в глазах, в них ему померещилось что-то знакомое до боли и в то же время совершенно чужое. Ему казалось, что они уже когда-то встречались, но сколько он ни напрягал память, ничего вспомнить не мог, хотя чувствовал, что вот-вот всплывет ее имя, словно написанное ее рукой. Нет, не может быть, он бы запомнил ее. И не потому, сказал он себе, что в ней была особая красота, хотя ее лицо было очень привлекательно, а потому, что она чем-то бесконечно трогала его. Если пристально вглядываться в некоторых девиц с фотографий, то они, возможно, даже были красивее, но эта сразу запала ему в сердце тем, что жила или хотела жить, а может быть, и жалела, что так живет, и знала страдание — это видно по глубине непокорных глаз, по свету, одевавшему ее, отраженному от нее, в ней таилась неизведанная сила, было что-то особое, свое. И он возжелал ее. Голова у него раскалывалась, глаза горели от пристального вглядывания в это лицо, и вдруг словно туман рассеялся у него в мозгу, он почувствовал страх перед ней, понял, что столкнулся с чем-то недобрым. Он вздрогнул и тихо сказал себе: «Во всех нас есть зло...»

Лео заварил чай в маленьком чайнике и сел, отпивая его небольшими глотками, без сахара, чтобы успокоиться. Но, не допив стакан, снова стал вглядываться в ее лицо и решил, что оно прекрасно — прекрасно и создано для Лео Финкеля. Только такая, как она, могла его понять, могла помочь ему найти то, чего он искал. А может быть, и она его полюбит. Он не понимал, как она попала в отбросы из зальцмановского бочонка, но знал одно: надо срочно ее найти.

Сбежав вниз, Лео схватил телефонную книгу и стал искать в районе Бронкса домашний адрес Зальцмана. Но там не было ни домашнего адреса, ни адреса конторы. Не было их и в районе Манхэттена. Тут Лео вспомнил, что записал адрес на клочке бумаги, прочитав объявление Зальцмана в газете «Форвард». Он бросился в свою комнату, переворачивая бумаги — и все зря. Было отчего прийти в отчаяние. Теперь, когда сват понадобился ему до зарезу, он не мог его найти. К счастью, Лео догадался заглянуть в бумажник. Там, на карточке, была записана фамилия Зальцмана и адрес в Бронксе. Номера телефона не было, и Лео вспомнил, что именно поэтому он и написал Зальцману письмо. Он надел пальто, шляпу поверх ермолки и побежал к метро. Всю дорогу, в дальний конец Бронкса, он сидел на краешке скамьи. Несколько раз он испытывал искушение — вынуть фотографию, посмотреть, такая ли она, как он ее себе представлял, но каждый раз удерживался, и фото оставалось во внутреннем кармане пиджака и радовало его своей близостью. Когда поезд подошел к станции, он уже стоял у дверей и выскочил первым. Улицу, где жил Зальцман, он нашел сразу.

Дом, который он искал, находился в полуквартале от станции метро, но это была не контора, даже не склад и не мансарда, где можно было бы устроить что-то вроде конторы. Это был просто старый многоквартирный дом. У входа на грязноватой карточке под звонком Лео нашел фамилию Зальцмана и поднялся по темной лестнице в его квартиру. Он постучал, и ему открыла худая, задыхающаяся от астмы, седая женщина в войлочных туфлях.

— Вам что? — спросила она, не интересуясь от-

ветом. Она слушала, не слыша. Лео мог поклясться, что и ее он где-то видел, но потом понял, что это ошибка.

— Зальцман тут живет? Пиня Зальцман? — спросил он. — Брачный посредник?

Она удивленно посмотрела на него.

— А где же еще?

Он растерялся.

— А он дома?

— Нет, — и хотя она так и не закрыла рот, больше он от нее не дождался ни слова.

— У меня спешное дело. Скажите, а где его контора?

— В воздухе! — Она ткнула пальцем вверх.

— Вы хотите сказать — у него нет конторы? — спросил Лео.

— В дырявых носках у него контора, — сказала она.

Он заглянул внутрь квартиры. Там было темно-то и грязно — одна большая комната, разделенная полуотдернутой занавеской, за которой виднелась кровать с металлическими шишками. В передней части комнаты стояли рахитичные стулья, старая конторка, трехногий стол, полки с кастрюлями и всякой кухонной утварью. Но нигде ни следа Зальцмана и его волшебного бочонка — видно, бочонок существовал только в его воображении. От запаха жарящейся рыбы у Лео ослабли коленки.

— Но где же ваш муж? — настаивал он. — Мне необходимо его видеть.

Наконец она ответила:

— А кто может знать, где он? Только ему что

взбредет в голову, как он уже бежит. Идите домой, он сам вас найдет.

— Скажите, что приходил Лео Финкель.

Она даже не подала виду, что слышала.

Он ушел от нее совершенно подавленный.

Но Зальцман, тяжело пыхтя, уже ждал у его двери.

Лео удивился, обрадовался:

— Как это вы меня обогнали?

— Я торопился.

— Заходите.

Они вошли. Лео приготовил чай и сандвич с сардинкой для Зальцмана. Во время чаепития он протянул руку назад, взял конверт с фотографиями и передал их Зальцману.

Зальцман поставил стакан с чаем и с надеждой спросил:

— Ну что, нашли? Кто-то вам, наконец, понравился?

— Нашел, но не тут.

Зальцман отвернулся.

— Вот кто мне нужен, — сказал Лео и подал любительский снимок.

Зальцман напялил очки и взял фотографию дрожащими руками. Он стал похож на мертвеца и глухо застонал.

— Что с вами? — крикнул Лео.

— Извиняюсь! Это фото, оно тут случайно. Она совсем не для вас.

Зальцман лихорадочно запихивал толстый конверт в портфель. Сунув маленькое фото в карман, он вскочил и убежал из комнаты.

Лео на миг окоченел, но тут же очнулся, побежал

за ним и настиг его в прихожей. Хозяйка что-то истерически причитала, но они ее не слушали.

— Отдайте карточку, Зальцман.

— Нет! — Страшно было смотреть на страдальческие глаза старика.

— Скажите хотя бы — кто она?

— Нет, нет, извиняюсь, это я сказать не могу.

Он дернулся к выходу, но Лео, совершенно забывшись, схватил его за лацканы тесного пальто и затряс изо всех сил.

— Пустите! — застонал Зальцман. — Пустите!

Лео стало стыдно, он выпустил его.

— Ну скажите же, кто она? — умолял он. — Мне очень важно знать.

— Она же не для вас. Она дикая, стыда в ней нет, дикая совсем. Это не жена для раввина.

— Как это — дикая?

— Ну, дикая, как звери дикие. Как собака. Для нее бедность — грех. Потому она теперь и умерла для меня!

— Ради бога, объясните мне, в чем дело?

— Таковую я с вами знакомить не могу! — закричал Зальцман.

— Да чего вы так волнуетесь?

— Он еще спрашивает, чего я волнуюсь! — крикнул Зальцман и вдруг заплакал. — Потому что это моя доченька, моя Стелла, гори она в аду!

Лео сразу лег в постель и глубоко зарылся в одеяло. Под одеялом он продумал всю свою жизнь. И хотя он вскоре заснул, но и во сне не мог отделаться от нее. Он проснулся, колотя себя в грудь кулака-

ми. Напрасно он молился, чтобы избавиться от нее, — молитва оставалась без ответа. Много дней он мучился без конца, пытаясь разлюбить ее, но так боялся этого, что разлюбить не мог. И тут он решил обратиться к добру, а самому обратиться к богу. При этой мысли в нем вспыхивали то отвращение, то восторг.

Может быть, он сам не осознавал, что пришел к окончательному решению, пока не встретил Зальцмана в кафе на Бродвее.

Тот сидел один, за столиком в самой глубине, и обсасывал рыбы косточки. Он страшно исхудал и стал таким прозрачным, что казалось, вот-вот растает.

Сначала Зальцман смотрел на него, не узнавая. Лео отрастил острую бородку, его взгляд стал тяжелым и мудрым.

— Зальцман, — сказал он, — наконец, в мое сердце вошла любовь.

— Ну кто это влюбляется по карточке? — насмешливо сказал сват.

— Что же тут невозможного?

— Уж если вы ее полюбили, так вы кого угодно полюбите. Дайте я вам покажу новых клиенток, сию минуту я получил свеженькие фотографии. Одна — так прямо куколка.

— Мне нужна только она, — пробормотал Лео.

— Ох, доктор, не валяйте дурака! Не связывайтесь вы с ней!

— Познакомьте меня с ней, Зальцман, — униженно попросил Лео. — Может быть, я ей помогу...

Зальцман перестал жевать, и Лео с волнением понял, что дело налаживается.

Однако, выйдя из кафе, он почувствовал мучительное подозрение: а вдруг Зальцман сам подстроил, чтобы все так случилось?

Лео известили письмом: она встретится с ним на углу такой-то улицы, и вот весенним вечером она ждала его под уличным фонарем. Он появился издали, с букетом фиалок и нераспустившихся роз. Стелла стояла у фонарного столба и курила. Она была в белом, в красных туфельках — он так и ожидал, хотя однажды ему представилось, что платье будет красное и только туфли белые. Она ждала, неловкая, застенчивая. Уже издали он увидел, что в ее глазах, похожих на глаза отца, была какая-то отчаянная невинность. Он почувствовал в ней свое искупление. Скрипки и зажженные свечи закружились в небе. Лео бросился к ней, протягивая цветы.

А за углом Зальцман, прислонясь к стене, тянул заупокойную молитву.



1

Когда я осторожно стучусь в дверь, Оскар Гас-нер в сетчатой нижней рубашке и летнем халате сидит у окна душного, тесного и темного номера гостиницы на Десятой Западной. В небе за окном темнеет и затухает зеленоватый закат позднего июня. Беженец ощупью ищет выключатель и смотрит на меня в упор, стараясь скрыть отчаяние, но скрыть, что он подавлен, ему никак не удастся.

В те времена я был бедным студентом и храбро соглашался учить кого угодно чему угодно за доллар в час; впрочем, с тех пор я здорово поумнел. Чаще всего я обучал английскому языку недавно прибывших беженцев. Меня рекомендовал университет — у меня был некоторый опыт. Некоторые из моих учеников уже проверили на американском рынке созданный нашими общими усилиями ломаный английский. Мне только что исполнилось двадцать лет, я был худой, жадный до жизни мальчишка, изводившийся от ожидания — когда же мы вступим в мировую войну? Ничтожество я — и больше ничего. Лезу из кожи вон, делаю карьеру, а там, за океаном, Адольф Гитлер, в черных сапогах, с квадратными усиками, жует и выплевывает все цветы. Забыть ли мне, что делалось в Данциге тем летом?

После депрессии жить еще было нелегко, но я кое-как подрабатывал за счет этих несчастных бе-

женцев. Их было полным-полно в дальних кварталах Бродвея в тот, 1939 год. У меня было четыре ученика — Карл Отто Альп, бывший киноактер, знаменитость, Вольфганг Новак, в прошлом блестящий экономист, Фридрих Вильгельм Вольф, преподававший историю средних веков в Гейдельберге, и, наконец, после того вечера, когда я познакомился с ним в его дешевом, захламленном номере, моим учеником стал Оскар Гасснер, берлинский критик и журналист, когда-то работавший в «Ахт ур абендблатт». Все это были люди высокообразованные. С моей стороны было большой наглостью преподавать им, но чего только не заставляет делать мировой кризис — тут за что угодно возьмешься.

Оскару было лет под пятьдесят, и его густые волосы уже седели. У него были крупные черты лица, тяжелые руки и вечно опущенные плечи. И глаза у него были тяжелые, мутно-голубые; когда я впервые ему представился, он посмотрел на меня, и сомнение разлилось в его взгляде, как подводное течение. Казалось, что при виде меня он снова ощутил всю безысходность своего положения. Мне часто приходилось ждать, пока он придет в себя, и я молча стоял за дверью. Я предпочел бы смыться, но надо было зарабатывать на жизнь. Наконец он открывал двери, и я входил. Вернее, он выпускал дверь из рук, и я оказывался в комнате.

— Bitte *, — он пододвигал мне стул, а сам растерянно искал, куда бы сесть.

Он начинал говорить и останавливался, как будто хотел сказать что-то недозволенное. Комната была

* Пожалуйста! (нем.).

завалена одеждой, ящиками с книгами, которые ему удалось вывезти из Германии, какими-то картинками. Оскар садился на ящик, неловко обмахиваясь толстой рукой.

— Эта шара, — говорил он, с огромным усилием ища слова. — Невосможно. Я не знал такая шара.

Мне и то было душно, а ему просто невыносимо. Он задыхался. Он пытался еще что-то сказать, поднимал руку и ронял ее, как подстреленную утку. Он дышал так, будто с кем-то боролся, но, очевидно, он побеждал, потому что минут через десять мы уже сидели и вели медленный разговор.

Как многие образованные немцы, Оскар когда-то изучал английский, и хотя он был уверен, что ни слова сказать не может, но как-то ухитрился составлять вполне приличные, хотя и очень смешные, английские фразы. Он неправильно произносил согласные, путал глаголы с существительными и коверкал идиомы, но все же мы сразу поняли друг друга. Говорили мы по-английски, изредка я вставлял слова на немецко-еврейском жаргоне, то, что он называл «идиш». Он и прежде бывал в Америке — год назад. Тогда он приезжал ненадолго, разузнать, сможет ли он получить тут работу. Это было за месяц до «Кристаллнахт» — той ночи, когда нацисты перебили витрины еврейских магазинов и сожгли все синагоги. Родных в Америке у него не было, и, только найдя работу, он мог быстро получить разрешение на въезд. Тут ему обещали какую-то стипендию, но не как журналисту, а как лектору. Потом он вернулся в Берлин и через шесть жутко напряженных

месяцев получил разрешение эмигрировать. Он распродал все что мог, и ему удалось вывезти несколько картин — подарков друзей-художников и ящики с книгами, дав взятку двум пограничникам-голландцам. Он простился с женой и уехал из этой проклятой страны.

Он посмотрел на меня затуманенными глазами.

— Мы расстались друзьями, — сказал он по-немецки, — жена у меня была христианка. Мать у нее страшная антисемитка. Они переехали в Штеттин.

Я не задавал никаких вопросов. Христианка — это христианка, Германия — это Германия.

Он получил работу в Институте общественных наук, в Нью-Йорке. Он должен был читать лекции раз в неделю, в осеннюю сессию, а весной прочесть курс на английском языке «Литература Веймарской республики». Никогда до этого он не преподавал и очень этого боялся. Первые лекции должны были ознакомить слушателей с ним, но одна мысль, что надо будет читать по-английски, совершенно парализовала его. Ему это казалось невыносимым.

— Это ше нефосмошно! Я не умель сказать два слов. Я не умель происносить! Я буду стоять как дурак.

День ото дня он все глубже впадал в меланхолию. За два месяца после своего приезда, переезжая во все более и более дешевые гостиницы, он сменил двух английских преподавателей, и я был третьим. Те двое от него отказались, потому что он не делал никаких успехов, и к тому же, как ему казалось, он нагонял на них тоску. Он спросил, как я думаю,

смогу ли я чего-нибудь от него добиться или ему лучше обратиться к специалисту по постановке речи, который берет по пять долларов за урок, и попросить помощи у него.

— Что ж, попробуйте, — сказал я, — а не выйдет — возвращайтесь ко мне.

Тогда я был уверен — уж если я что-то знаю, значит знаю твердо.

В ответ он выдавил из себя улыбку. Но я хотел, чтобы он все решил сам, иначе никакого доверия между нами не возникнет.

Помолчав, он сказал, что хочет заниматься со мной. Если он пойдет к пятидолларовому профессору, то, возможно, языку от этого будет польза, но зато желудку — один вред. На еду тогда денег не останется. Институт выдал ему аванс за лето, и у него было всего-навсего триста долларов.

Он тупо посмотрел на меня.

— Ich weiss nicht wie ich es weiter machen soll? *

Я решил, что пора преодолеть первые трудности. Либо надо сделать это сразу, либо возиться долго и медленно, как бурят скалу.

— Подойдем к зеркалу, — сказал я.

Он со вздохом поднялся и встал рядом со мной; я, худой, длинный, рыжий, молил бога об успехах — его и моих. Оскар, боязливый, неловкий, никак не мог заставить себя посмотреть в потрескавшееся круглое зеркало над туалетным столиком.

— Пожалуйста, — сказал я, — попробуйте произнести «хорошо».

— Хоггошо, — сказал он.

* Не знаю, как я буду жить дальше (нем.).

— Нет, хорошо. Язык надо поставить так. — Я показал ему, как ставить язык; он напряженно смотрел в зеркало, я напряженно смотрел на него. — Кончик касается нёба, вот так.

Он поставил язык, как я ему велел.

— Ну, теперь, пожалуйста, скажите: «Хорошо».

Язык Оскара затрепетал:

— Хорошо.

— Неплохо. Теперь скажите: «Прекрасно» — это немного труднее.

— Пгекхасно.

— Нет, язык не должен заходить так далеко назад, больше вперед. Вот взгляните.

Он попробовал, лоб у него взмок, глаза выкатились.

— Прекрасно.

— Правильно.

— Чудеса, — сказал Оскар.

Я сказал — раз он справился с этим, значит справится и со всем остальным.

Мы проехали на автобусе по Пятой авеню и потом погуляли вокруг озера в Центральном парке. На Оскаре была немецкая шляпа — у них бантик на ленте сзади, шерстяной костюм с очень широкими лацканами, да и галстук вдвое шире моего. И походка у него была неуклюжая, вразвалку. Вечер был славный, становилось немного прохладнее. В небе стояли редкие крупные звезды, от них мне сделалось грустно.

— Вы считаете, я могу достигать успех?

— Почему бы и нет?

Тогда он угостил меня бутылкой пива.

Для людей, привыкших четко выражать свои мысли, самой большой потерей была именно потеря языка — то, что они не могут высказать все, что у них накопилось внутри. Мысли приходят тонкие, интересные, а слова похожи на бутылочные осколки. Конечно, кое-как общаться с другими они могли, но для них это было просто мучением. Через несколько лет Карл Отто Альп, бывший киноактер, который стал коммивояжером фирмы «Мэйси», рассказывал мне: «Тогда я чувствовал себя младенцем, больше того, иногда я чувствовал себя идиотом. Я замыкался в себе, я ничего не мог выразить. Все, что я знал, нет, все, что я собой представлял, становилось для меня непосильным грузом. И мой язык висел ненужным придатком».

То же самое случилось с Оскаром. И у него было это жуткое ощущение безъязыкости. Мне кажется, что он ничего не достиг со своими первыми учителями оттого, что боялся захлебнуться в невысказанных словах и пытался залпом проглотить океан новых слов: сегодня он выучит английский и завтра же всех огорошит безукоризненным спичем в честь Четвертого июля, за которым тут же последует блестящая лекция в Институте общественных наук.

Но мы продвигались медленно, шаг за шагом, по порядку. После того как Оскар переехал в двухкомнатную квартиру на Восемьдесят пятой, около Драйва, мы встречались три раза в неделю, в половине пятого, работали полтора часа, и так как было слишком жарко, чтобы стряпать дома, мы шли ужинать в автомат на Семьдесят второй и разговарива-

ли — уже за мой счет. Урок мы делили на три части: упражнения в произношении, чтение вслух, потом грамматика — Оскар считал, что это необходимо, — и затем проверка домашних сочинений. Разговорную практику, как я уже сказал, мы вели бесплатно, за ужином. Мне казалось, что он делает успехи. Все мои задания ему, очевидно, давались гораздо легче, чем задания прежних преподавателей. Он многому научился, и настроение у него поднялось. Были минуты подлинной радости, когда он слышал, как исчезает его акцент, например, когда вместо «тумать» у него выходило «думать». Он перестал называть себя «безнатышным», я стал для него «мой лупимый утшител», — у него это выходило очень смешно.

Ни он, ни я никогда не заговаривали о лекции, которая ему предстояла в октябре, и я скрещивал пальцы, чтоб не сглазить. Мне казалось, что эта лекция будет естественным результатом наших ежедневных занятий, но я понятия не имел, как это получится. И хотя я ничего не говорил Оскару, но меня пугала и первая лекция и последующие десять. Потом, узнав, что Оскар пытался написать текст лекции по-английски, с помощью словаря и потерпел «полный профал», я предложил ему — не лучше ли написать лекцию по-немецки, а потом мы вместе попробуем перевести ее на сносный английский. С моей стороны, это было не совсем честно, потому что немецкий я знал плохо и хотя мог читать простые тексты, но, конечно, для серьезного перевода знаний не хватало. Но цель у меня была одна — заставить Оскара писать, а думать о переводе будем потом. Он потел над этой лекцией, нервничая по утрам и выдыхаясь к вечеру, и хотя он всю жизнь был

профессиональным писателем и знал свой предмет назубок, но на каком бы языке он ни пытался изъясниться, дальше первой страницы его лекция не шла.

Июль стоял липкий, жаркий, и духота никак не способствовала нашим занятиям.

3

Я познакомился с Оскаром в конце июня, а к семнадцатому июля наши занятия прекратились. Их убила «нефосмошная лекция». Оскар, лихорадочно потея, трудился над ней каждый день, и его отчаяние росло. Написав чуть ли не сто страниц, он в бешенстве швырнул перо об стенку и закричал, что не может писать на этом гнусном языке. Он проклинает немецкую речь. Он ненавидит эту проклятую страну, этот проклятый народ. И то, что раньше ладилось, разладилось после этой вспышки уже окончательно. Отказавшись от работы над лекцией, он перестал делать успехи и в английском. Он как будто забыл все, чему научился до сих пор. Язык у него заплетался, акцент снова расцвел пышным цветом. По-английски он говорил мало, вымученными скованными фразами. По-немецки он только шептал что-то себе под нос. По-моему, он и не сознавал, что бормочет. На этом кончились наши занятия, хотя я и заходил через день-другой — просто посидеть с ним. Часами он сидел не двигаясь в огромном, обитом зеленым бархатом кресле, жарком как сковорода, и влажными тоскливыми глазами смотрел в высокое окно на бесцветное небо над Восемьдесят пятой улицей.

Однажды он мне сказал:

— Если лекция мной не подготовлена будет, я отниму у себя жизнь.

— Давайте начнем, Оскар, — сказал я. — Вы диктуйте, а я буду записывать. Важны мысли, а не правописание.

Он промолчал, и больше я об этом не заговаривал.

Он погрузился в глубочайшую меланхолию. Иногда мы часами сидели рядом, не произнося ни слова. Я очень тревожился, хотя мне это уже было знакомо. Вольфганг Новак, экономист, тоже иногда впадал в депрессию, хотя английский давался ему легче. Но там причиной, как мне кажется, было его плохое здоровье, к тому же он гораздо больше тосковал о потерянной родине, чем Оскар. Иногда я уговаривал Оскара выйти со мной в сумерки, погулять по набережной. Ему как будто нравились последние отблески заката над Палисадами. Во всяком случае, он на них смотрел. Он одевался, как на парад, — шляпа, пиджак, галстук, — не считаясь ни с жарой, ни с моими советами, и мы медленно спускались по лестнице. Иногда я боялся, что он не дойдет до выхода. Казалось, что он вдруг повиснет между этажами.

Мы шли по городу не спеша, присаживаясь на скамейки и глядя, как вечер поднимается над Гудзоном. Когда мы возвращались к нему в комнату и я чувствовал, что он немного размяк, мы слушали музыку по радио, но, если я пытался включить последние новости, он меня останавливал: «Прошу фас, я не способен фыносить мирофые несчастья», — и я выключал радио. Он был прав: ничего хорошего

не передавали. Я ломал себе голову: чем бы таким его утешить? Сказать — хорошо, что вы живы?.. А кто с этим спорит? Иногда я читал ему вслух — помню, как ему понравилась первая часть «Жизни на Миссисипи». Раза два в неделю мы по-прежнему ходили обедать в автомат; он — больше по привычке, потому что не хотел ходить в другой ресторан, я — чтобы вытащить его из дому. Оскар ел мало, вертел ложкой. Казалось, что на его тусклые глаза кто-то брызнул темной краской.

Однажды после короткой освежительной грозы, когда мы, подложив газеты, сидели на мокрой скамейке над рекой, Оскар, наконец, разговорился. На вымученном английском он пытался передать свою напряженную и неистребимую ненависть к нацистам за то, что они разрушили его карьеру, вырвали его с корнем из привычной полувековой жизни и швырнули куском кровавого мяса на съедение коршунам. Он проклинал глухими проклятиями всю германскую нацию, всех этих бесчеловечных, бессовестных, беспощадных людей.

— Эти сфиньи, какофые притворяются пафлинами, — сказал он. — Я уферен, что ф глупине сердца моя жена ненафидела ефреев.

В его словах была страшная горечь, какое-то косноязычное красноречие. Потом он замолчал. Я надеялся, что он мне расскажет о жене подробнее, но спрашивать не решился.

А когда совсем стемнело, Оскар сознался, что в первую неделю пребывания в Америке он пытался покончить с собой. Тогда, в конце мая, он жил в ма-

леньком отеле и однажды вечером наелся снотворного. Но телефонная трубка упала со стола, телефонистка отеля послала лифтера, и тот застал его лежащим на полу без сознания.

В госпитале его привели в чувство.

— Я не сопирался умирать, — сказал Оскар, — это пыло неторасумение.

— И никогда об этом не думайте, — сказал я, — нельзя окончательно сдаваться.

— Я не тумую, — сказал он устало, — потому что к шизни фосфращаться очень трудно.

— Нет, уж вы, пожалуйста... Не надо!

Потом, когда мы шли домой, он меня удивил:

— Может пыть, нам опять попробофать писать лекцию?

Мы поплелись домой, он сел к своему жаркому столу, а я пытался читать, пока он пробовал восстанювить первую страницу своей лекции. Писал он, разумеется, по-немецки.

4

Он ничего не добился. И мы вернулись к пустоте, к молчаливому сиденью в жаркой комнате. Иногда, уже через несколько минут, я срывался и уходил, боясь, что его состояние захлестнет и меня. Как-то после обеда я неохотно подымался по лестнице: иногда во мне вспыхивало раздражение против него, и вдруг испугался — двери Оскара были распахнуты настежь. Я постучал — никто не ответил. Я стоял в дверях, холод полз у меня по спине, и я ловил себя на мысли: а вдруг Оскар опять пытался покончить с собой?

— Оскар? — Я зашел в квартиру, заглянул в обе комнаты, в ванную, его нигде не было.

Я подумал — может быть, он вышел чего-нибудь купить, и, воспользовавшись его отсутствием, торопливо осмотрел всю квартиру. В аптечке ничего страшного не было — никаких таблеток, кроме аспирина, даже йода там не оказалось. Неизвестно почему я подумал про револьвер и выдвинул ящик письменного стола. Там лежало тонкое, как папиросная бумага, авиаписьмо из Германии. Если бы я даже хотел, я не мог бы разобрать почерк, но мне бросилась в глаза одна фраза: «Ich bin dir 27 Jahre treu gewesen»*. Револьвера в ящике не было. Я закрыл ящик и больше искать не стал. Я подумал: если захочешь покончить с собой, хватит и простой булавки. Тут вернулся Оскар. Он сказал, что сидел в читальне, но читать не мог.

И снова мы играли все ту же пьесу: подымался занавес, на сцене два безмолвных персонажа, я — на жестком стуле, Оскар — в мягком бархатном кресле, оно его скорее давило, чем нежило, он весь серый, большое серое лицо обвисло, расплылось, словно не в фокусе. Я тянулся к радио, собираясь включить его, он только глядел на меня умоляюще — не надо. Я вставал, хотел уйти, но Оскар, откашлявшись, просил остаться. Я оставался, думая: может быть, за этим есть что-то, чего я не понимаю? Трудностей у него, видит бог, было немало, но, может быть, тут что-то более серьезное, чем бездомность беженца, отчужденность, денежные затруднения, жизнь в чужой стране, без языка, без друзей? Мои

* Я была тебе верна двадцать семь лет (нем.).

рассуждения шли привычным путем: ведь не все тонут в этом океане, почему же тонет он? И однажды я постарался облечь свои мысли в слова и спросил его: может быть, его мучит что-нибудь подспудное, тайное? Меня в колледже начинили такими идеями, и я спросил, не зависит ли его депрессия от какой-то скрытой причины и не сможет ли психиатр помочь ему избавиться от этого состояния хотя бы настолько, чтобы он мог начать работу над лекцией.

Он обдумал мои слова и потом, запинаясь, сказал, что еще юношей он лечился психоанализом в Вене.

— Обычный Дреск*, — сказал он, — фсякие страхи, фантазии, потом они меня перестали беспокоить.

— А теперь?

— Нету.

— Вы написали столько статей, столько лекций в своей жизни, — сказал я. — Знаю, в каком вы состоянии, и все же никак не пойму, почему вы застреваете на первой странице?

Он поднял руку:

— Это есть паралич моей фоли. Фся лекция у меня ясно стоит в мозгу, но в ту минуту, как я напишу первое слово — хотя по-немецки, хотя по-английски, меня запирает ужасный страх, что тальше я ни отного слова написать не могу. Как если бы кто-то бросил камень в окно — и весь дом, все мысли разбиваются совсем. И все пофторяется, и в конце концов я прихожу в отшаяние.

Он еще сказал, что, садясь за работу, он все больше и больше пугался — вдруг он умрет, не закончив

* Дерьмо (нем.).

лекцию, или напишет ее так скверно, что будет мечтать о смерти. И этот страх парализовал его.

— Я потерял феру. Я уж польше... нет, я уже софсем не могу оценифать себя, как прежде. В моей жизни имелось слишком много заплуждений.

Я пытался сам поверить в свои слова:

— А вы будьте увереннее, тогда это чувство пройдет.

— Уференности у меня нет. За это, как и за фсе, что я потерял, надо плаготарить нацистов.

5

Была уже середина августа, и во всем мире, куда ни глянь, дела шли все хуже и хуже. Поляки готовились к войне. Оскар почти не выходил. Я был страшно озабочен, хотя делал вид, что погода прекрасная.

Он сидел в своем массивном кресле, дыша, как загнанное животное, глаза у него были совсем больные.

— Кто может писать про Уолта Уитмена в такое страшное время?

— Почему вы не возьмете другую тему?

— Нет никакой разницы, одна тема или тругая тема. Все это не имеет пользы.

Я приходил каждый день, просто как друг, запуская другие свои уроки, пренебрегая заработком. Во мне росло паническое предчувствие, что, если так пойдет дальше, Оскар кончит жизнь самоубийством, и у меня было одно безумное желание — предотвратить катастрофу. Более того, я сам иногда пугался, что заразился его меланхолией, — у меня появился, если можно так назвать, талант: находить все мень-

ше удовлетворения в моих маленьких удовольствиях. А жара продолжалась, давящая, беспощадная. Мы думали, не удрать ли в деревню, но ни у меня, ни у него денег не было. Как-то я купил Оскару подержанный вентилятор, — удивительно, как мы не догадались раньше? — и он часами сидел под струей воздуха, пока через неделю, вскоре после заключения советско-германского пакта о ненападении, вентилятор не испортился. По ночам Оскар не спал, сидел у письменного стола, обернув голову мокрым полотенцем, и пытался написать свою лекцию. Он механически исписывал кипы бумаги, но ничего из этого не выходило. Свалившись от изнеможения, он видел дикие, страшные сны — нацисты его пытали, силой принуждали смотреть на трупы тех, кого они убили. Он мне рассказал, что в одном из кошмаров он будто бы вернулся в Германию повидаться с женой. Дома ее не оказалось, и его направили на кладбище. И хотя там на памятнике стояло другое имя, он знал, что это ее кровь сочится сквозь землю из неглубокой могилы. Он громко застонал, вспоминая этот кошмар.

Как-то он рассказал мне про жену. Они встретились еще студентами, сошлись, а потом, в двадцать три года, поженились. Брак был не очень счастливый. Она стала болезненной женщиной, физически неспособной иметь детей.

— Что-то пыло не ф порядке в ее фнутренней структуре, — объяснил он.

И хотя я ничего не спрашивал, Оскар сам сказал:

— Я претлагал ей приехать сюда со мной, но она отказалась.

— По какой причине?

— Она считала, что я не шелаю с ней ехать.

— А вы?

— Не шелал.

Он мне объяснил, что они прожили вместе почти двадцать семь лет в очень сложной обстановке. У нее было двойственное отношение к их еврейским друзьям и к его родным, хотя она как будто была человеком без предрассудков. Зато ее мать всегда была злостной антисемиткой.

— А семя я не имею в чем упрекать, — сказал Оскар.

Он все больше лежал в постели. Тогда я стал ходить в нью-йоркскую библиотеку. Я прочел в английских переводах тех немецких поэтов, о которых он собирался писать. Потом я прочел «Листья травы» и записал все то, что, по моему мнению, немецкие поэты позаимствовали у Уитмена. И в один из последних дней августа я принес Оскару то, что записал. По большей части это были просто мои домыслы, ведь я вовсе не собирался писать за него лекцию. Он лежал на кровати и слушал с нескрываемой тоской то, что я читал. Потом он сказал, что неверно, будто немцы позаимствовали у Уитмена его любовь к смерти — она всегда была отличительной чертой немецкой литературы, скорее всего они взяли от Уитмена чувство человеческого братства, его большой гуманизм.

— Но на немецкой почве гуманизм не прифифаается, — сказал он, — и скоро гибнет.

Я сказал — жаль, конечно, что я так ошибся, но он все равно меня очень благодарил.

Я ушел совсем расстроенный и, спускаясь по лестнице, услышал звуки, похожие на рыдание. Надо

все это бросить, подумал я, мне не выдержать, не могу же я идти ко дну вместе с ним.

Весь следующий день я просидел дома, обуреваемый не по возрасту острой душевной тоской, но в тот же вечер Оскар позвонил мне по телефону и, захлебываясь, стал благодарить меня за то, что я прочитал ему мои записки. Он хотел написать мне письмо и объяснить, что я упустил, а кончил тем, что написал половину лекции. Весь день он отсыпался и сегодня вечером собирался все дописать.

— Я вас плагиатую, — сказал он, — за многое, включая так же вашу феру в меня.

— Слава богу, — сказал я и, разумеется, не выдал, что сам я чуть было не потерял эту веру окончательно.

6

В первую неделю сентября Оскар закончил свою лекцию, написал и переписал ее. Нацисты вторглись в Польшу, и хотя нас это очень встревожило, но все-таки мы чувствовали какое-то облегчение: а вдруг храбрые поляки их побьют? На перевод статьи ушла еще одна неделя, но тут нам помог Фридрих Вильгельм Вольф, историк, кроткий, высокообразованный человек, который любил переводить и обещал помогать нам и в дальнейшем. У нас осталось две недели на подготовку Оскара к выступлению. Погода переменилась; и в нем самом, хотя и медленно, тоже происходили значительные перемены. Он словно пришел в себя после поражения в тяжелой и утомительной борьбе. Он похудел фунтов на двадцать. Цвет лица у него все еще был серый, и, глядя на это лицо, ка-

залось, что я вижу на нем шрамы, но оно стало менее расплывчатым, более определенным. Голубые глаза ожили, походка стала тверже, быстрее, словно он хотел наверстать все прогулки, упущенные в те жаркие дни, когда он лежал без движения в своей комнате.

Мы снова вернулись к прежним занятиям и три раза в неделю проводили уроки дикции, грамматики и стилистики. Я обучил его фонетическому алфавиту и транскрибировал для него длинные списки тех слов, которые он неправильно произносил. Он часами работал, добиваясь правильного звучания, и держал в зубах сломанную спичку, чтобы челюсти не смыкались, когда он упражнял кончик языка. Все это очень скучно, если только не думать о будущих успехах. Глядя на него, я понимал, что значит выражение: «он стал другим человеком».

Лекция — я ее уже знал наизусть — прошла хорошо. Директор института пригласил на нее многих видных деятелей. Оскар был первым эмигрантом, которого они приняли на работу, а тогда появилась тенденция — обратить внимание общества на то, что эти люди становятся новой составной частью американской жизни. Пришли также два репортера и женщина-фотограф. Аудитория института была переполнена. Я сел в последний ряд и обещал Оскару поднять руку, если его не будет слышно, но это не понадобилось.

Оскар, в синем костюме, аккуратно подстриженный, конечно, нервничал, но это замечалось только, если внимательно присмотреться. Когда он вышел на кафедру, развернул рукопись и произнес первую фразу по-английски, сердце у меня дрогнуло: из всех

присутствующих только мы с ним знали, через какие мучения он прошел. А сейчас он и произносил совсем не плохо: раза два сказал «с» вместо «з» и раз сказал «кот» вместо «год», но вообще он был молодцом. Стихи он читал прекрасно — на обоих языках, и хотя Уолт Уитмен в его устах был немножко похож на немецкого эмигранта, приехавшего на Лонг-Айленд, но в общем стихи звучали как стихи:

И я знаю, что дух божий — брат моему духу,
Что все мужчины в роду человеческом — тоже мои братья,
Что все женщины мне — любовницы и сестры
И что днище вселенной крепится любовью.

Оскар прочел эти строки, как будто верил в них. Пала Варшава, но в этих стихах была какая-то защита. Я сел поудобнее и подумал: во-первых, о том, как легко скрывать даже самые глубокие раны; и во-вторых, как я горжусь работой, которую проделал.

7

Два дня спустя, поднявшись в квартиру Оскара, я застал там целую толпу. Он сам лежал в мягкой пижаме на полу — багровое лицо, синие губы, в уголках рта — пена, и двое пожарных, опустившись на колени, делали ему искусственное дыхание. Окна были открыты, но в воздухе стояла вонь.

Полисмен спросил, кто я такой, и я не мог ответить.

— Нет... Нет...

Я все повторял — нет, но неизменно думал —

да, да. Он отравился газом — как это я не подумал о газовой плитке на кухне?

— Но почему? — спрашивал я себя. — Почему он это сделал? Может быть, причиной, последней каплей во всем пережитом была судьба Польши?

Но ответа на эти вопросы мы не получили. В записке Оскар нацарапал: он болен, все, что у него есть, отдать Мартину Гольдбергу. Мартин Гольдберг — это я.

Целую неделю я прохворал, никакого желания вступить в права наследства или расследовать причину смерти я не испытывал, но все же решил, что надо просмотреть его вещи, пока суд не проинвентаризирует их, и поэтому целое утро просидел в кресле Оскара, пытаясь прочесть его переписку. В верхнем ящике стола я нашел тоненькую пачку писем от его жены и недавно полученное воздушной почтой письмо от его тещи-антисемитки.

Теща писала мелким почерком, который я расшифровывал часами. После того как Оскар бросил ее дочь, та, несмотря на мольбы и уговоры матери, перешла в иудаизм при посредстве одного зловредного раввина. Однажды ночью к ним явились коричневые рубашки, и, хотя мать иступленно махала перед ними бронзовым распятием, они вытащили фрау Гасснер вместе с другими евреями из дома и отвезли на машинах в пограничный городок завоеванной Польши. Ходят слухи, что там она была убита выстрелом в голову и сброшена в противотанковый ров вместе с трупами голых евреев, их жен и детей, с трупами нескольких польских солдат и кучкой цыган.

БЕРНАРД МАЛАМУД

В новелле Маламуда «Девушка моей мечты» есть начинающий писатель со смешной фамилией Митка. Митка пишет «символистичные», а потому «туманные» романы, которых не берет ни одно издательство, и молодому человеку так и не удается вкусить от сладкого бремени литературной славы. Образ Митки в какой-то мере автобиографичен. Бернارد Маламуд (род. в 1914 г.), подобно своему герою, также жил в «меблирашках», печатался в дешевых журналах, писал хотя и не «туманные», но, уж во всяком случае, не простые, в определенном смысле даже «символистичные» произведения. И долго ждал литературной известности, которая пришла к нему только в 1957 году, после выхода в свет романа «Помощник» («The Assistant»), ставшего бестселлером и привлекшего внимание к автору.

Дальнейшие публикации — сборники рассказов «Волшебный бочонок» («The Magic Barrel», 1958), «Дорогу идиотам» («Idiots First», 1964), романы «Новая жизнь» («The New Life», 1961) и вышедший в прошлом году «Наладчик» («The Fixer») — о знаменитом процессе по сфабрикованному царской охранкой делу Бейлиса, еврея, которому инкриминировали «убиение христианских младенцев» и людоедство, — закрепили положение Маламуда в современной американской литературе. Сейчас его имя стоит в одном ряду с именами Нормана Мейлера, Джерома Сэлинджера, Ральфа Эллисона, Сола Беллоу, Джеймса Болдуина, Уильяма Стайрона, Джона Апдайка и некоторых других писате-

лей, выступивших в США после второй мировой войны. Их книги в совокупности и дают то явление, которое принято называть послевоенным подъемом в американской прозе.

«Символистичность» Маламуда не имеет никакого отношения к символизму как литературной школе. Читатель, познакомившийся с рассказами этого сборника, может судить, насколько вещно и конкретно представлен в них мир Маламуда—мир бедных кварталов, черного хода, доходных домов и меблированных комнат, мир национальных гетто большого американского города, мир нетерпимости, отчаяния, жестокости, равнодушия, мир участия, нежности, надежды и веры. Впрочем, как и всякий настоящий художник, Маламуд не позволяет жизненному материалу одержать над собой верх. Он не прикован к чему-то одному и вовсе не считает себя обязанным снова и снова возвращаться к живописанию одной и той же убогой панорамы: грязная тесная улочка, проходной двор с мусорными баками, местечковая лавка на углу... От еврейского района Нью-Йорка, где семья иммигрантов перебивается на более чем скромные доходы от бакалейного магазинчика («Помощник»), автор переходит к изображению университета и университетской среды («Новая жизнь»). Новеллы Маламуда также разнообразны по теме.

Он пишет о неустроенности быта и жизни, о трагедии изгнанника, ученого-антифашиста, и о скорбях римской поденщины, о людях, приспособившихся к современному обществу, нашедших свое место, и о забавных чудаках, которых без цели мотает по жизни, которые не хотят или просто не могут принять мир таким, каков он есть, потому что сохранилась в них искра подлинной, а не официальной человечности. Лео Финкель и

Пиня Зальцман («Волшебный бочонок»), мистер и миссис Ф. Панесса («В кредит»), Нат Лайм («Мой любимый цвет — черный»), Собель («Первые семь лет»), Георг Стоянович и мистер Каттанзара («Летнее чтение») — все они из породы неприкаянных неудачников, «бедных рыцарей» современной американской прозы, таких, как Холли Голлайтли у Трумена Капоте («Завтрак у Тиффани»), Сэлинджеровы Холден Колфилд и молодые Глассы, Огги Марч и «заклинатель дождя» Гендерсон из одноименных романов Сола Беллоу.

Маламуд рассказывает о людях различной национальности, но прежде и больше всего — той, к которой принадлежит сам, — об американских евреях. Здесь он не только великолепный бытописатель, но и психолог, и социолог, и философ, открывающий новые стороны действительности. Он так «высвечивает» характеры потомков бывших «местечковых», эмигрировавших в Америку, как это не удавалось никому до него в американской литературе. В то же время творчество Маламуда развивается в традициях лучших образцов классической американской прозы XIX—XX веков; его книги отмечены углубленным психологизмом, бескомпромиссностью в изображении конфликта между героем и окружением и таким пронзительным, доходящим до одержимости состраданием к человеку, что крик боли все время прорывается сквозь мудрую и горькую иронию автора («Дева озера», «Беженец из Германии», «Мой любимый цвет — черный» и многие другие рассказы сборника).

Любовь к униженным, сирым, обездоленным, изгнанным, обойденным удачей; праведный суд над сытенькими и благополучными, над теми, кто глух к голосу совести, — все это Маламуд наследовал от мастеров амери-

канской, да и не только американской литературы. Преемственность человечности — первая и важная преемственность в движении таланта, как, впрочем, и в движении больших литератур. При всем своеобразии тематики и стиля, при всем национальном колорите языка книги Маламуда — неотъемлемая часть именно американской прозы сегодняшнего дня. Порой, когда автор открывает новые сюжеты, связанные с новой темой — евреи в Америке, — связь Маламуда с литературной традицией в США внешне почти не ощутима; вспоминается скорее Шолом Алейхем, чем кто-нибудь из американцев. Порой же эта связь выступает на поверхность, как, например, в случае разработки Маламудом характерного для классической американской литературы сюжета: американец в Европе. Такие рассказы, как «Дева озера», «Последний из могижан», «Туфли для служанки», выполненные со свойственной писателю точностью психологического рисунка, как бы «перекликаются» с произведениями классиков — Марка Твена, Генри Джеймса, Хемингуэя.

Маламуд развивает искусство новеллы — жанра, непревзойденные образцы которого дали и продолжают давать американские художники слова. Самобытность Маламуда-новелиста, думается, не только в языке и стиле его рассказов, но прежде всего в особом их строе, вернее, настроенности, в той «символистичности», о которой шла речь. Это не просто новеллы, а новеллы-притчи, новеллы-аллегии. Можно взять любой из рассказов сборника и убедиться, что в нем как бы сосуществуют два плана: приземленно-бытовой и обобщенно-философский, подчас даже назидательный. Назидательный в хорошем смысле, поскольку Маламуд не устает наставлять читателя в духе понимания, терпимости, бес-

корыстия и любви к человеку. «Мой любимый цвет—черный» — рассказ о незадачливом владельце винной лавочки в Гарлеме и в то же время гневная притча о горьких плодах, которые приносит расовая нетерпимость.

В новеллах Маламуда документально точное повествование о жизни «маленького человека» окрашено печальным еврейским юмором, перебивается афористическими сентенциями, переходит в язвительную сатиру, а та, в свою очередь, — в гротеск или своеобразную фантазмагорию. Маламуд — большой мастер «сказа», то есть стилизованного повествования, в котором автор устранился, скрываясь за придуманным им рассказчиком. Рассказчик наделен своим взглядом на мир и своей речью и манерой выражения; только умело проставленные акценты и почти неуловимые интонации выдают отношение автора как к материалу рассказа, так и к фиктивной личности повествователя. Передать склад маламудовского «сказа» средствами другого языка не менее трудно, чем перевести с русского на английский, скажем, Лескова, Бабеля или Зошенко, сохранив «лицо» оригинала.

Элементы условности и фантастики возникают в «сказе» Маламуда вполне естественно и к месту, так же как и свойственные отдельным рассказам нотки романтической экзальтированности. Все это — составная часть стиля, не менее важная, чем пластически выписанные детали быта. Совмещением разнородных стилистических «пластов» американский писатель добивается, подобно Бабелю в русской литературе, библейски-возвышенной интонации, повествуя о вещах, казалось бы, довольно заурядных. Понятия же возвышенные им, напротив, иронически «заземляются». Так, в рассказе «Волшебный бочонок» он пишет о луне, подружке влю-

бленных: «Он (Лео Финкель, герой новеллы. — В. С.) смотрел, как круглый месяц высоко плывет сквозь облачный зверинец, и, приоткрыв рот, следил, как он проникает в гигантскую курицу и выпадает из нее, словно само собой снесенное яйцо». А вот концовка того же рассказа — описание первой встречи двух молодых людей, которых свел сват Пиня Зальцман. «Уже издали он увидел, что в ее глазах, похожих на глаза отца, была какая-то отчаянная невинность. Он почувствовал в ней свое искупление. Скрипки и зажженные свечи закружились в небе. Лео бросился к ней, протягивая цветы. А за углом Зальцман, прислонясь к стене, тянул успокоительную молитву». В этой мистификации обыденного, в этом гротесковом смещении пропорций — та же непреложная внутренняя логика и психологическая убедительность, что и на полотнах Марка Шагала.

Нет нужды разбирать каждую новеллу из представленных в этом сборнике. Их самобытность и человечность, их суть (в английском языке есть удачное понятие «message» — оно включает не только содержание произведения искусства, но и эмоциональное его воздействие на людей), артистичность отделки и блистательный стиль автора очевидны. Внешне камерные по звучанию, посвященные, как правило, незначительным вроде бы проблемам и «маленьким людям», они вызывают во вдумчивом читателе глубокий душевный резонанс. Дело в том, что, повествуя о малом, они раскрывают очень многое. Внутренняя емкость новеллы Маламуда велика, характер, им созданный, вбирает в себя страну и время. Маламуд социален, как только и может быть социален подлинный творец: отмечая разного рода декларации, он показывает людей такими, какими их сформировала жизнь. Если же возникает иногда впечатление, будто он слишком

подробно останавливается на стихии вещей, которая окружает его персонажей, то лучше всего вспомнить определение Марины Цветаевой: «Вещи бедных — попросту — души!» Ведь главное, что беспокоит Маламуда, — вопрос о душе человека в современном мире. Причем о душе не в христианском понимании. Для писателя важно то, что в конечном счете и делает человека человеком, то подлинно высокое, чего не могут вытравить ни нужда, ни насилие, ни обман, но что могут усыпить благополучие, сытость и тупое самодовольство.

Погружаясь в «мерзости жизни» (М. Горький), Маламуд ищет и находит доброе и прекрасное в людях. Самые заброшенные и покалеченные «души» не безнадежны: и для них есть возможность выпрямления, возможность прощения. Единственное, чего писатель не приемлет, — полная бездуховность. Какие бы безысходные нотки ни звучали в его рассказах, подобных новелле «Тюрьма», как бы язвителен и саркастичен он ни был, его книги не оставляют гнетущего впечатления. «Проникновенное изображение автором трудностей и унижений, наполняющих жизнь, — справедливо заметил о Маламуде американский литературовед Ихаб Хассан, — сочетается с неугасимой верой в человека». Русский читатель Бернарда Маламуда, думается, разделит с ним эту веру.

В. СКОРОДЕНКО

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы Бернарда Маламуда . Ю. Наги- бин	5
В кредит	9
Плакальщики	19
Туфли для служанки	30
Мой любимый цвет — черный	49
Летнее чтение	65
Дева озера	76
Девушка моей мечты	110
Первые семь лет	129
Тюрьма	145
Последний из могикан	154
Нагая натура	189
Волшебный бочонок	216
Беженец из Германии	242
О Бернарде Маламуде . В. Скороденко	263

Маламуд, Бернард

ТУФЛИ ДЛЯ СЛУЖАНКИ. Рассказы. Перевод с английского Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ. Предисловие Ю. НАГИБИНА. Послесловие В. СКОРОДЕНКО. Художник А. ВЛОХ. М., «Молодая гвардия», 1967.

272 с.

И(амер)

Редактор Л. Беспалова

Художественный редактор **А. Степанова**

Технический редактор **Г. Лещинская**

Сдано в набор 8/IX 1967 г. Подписано к печати 30/XI 1967 г. Формат 70×108^{1/2}. Печ. л. 8,5 (усл. 11,9). Уч.-изд. л. 10,5. Тираж 100 000 экз. Т. П. 1967 г., № 418. Заказ 1793. Цена 52 коп.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

52 коп.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ● 1967